

Владимир ЛИДСКИЙ

АЛЕБУК

Повесть

С трудом приоткрыв глаза, генерал всмотрелся во мглистый полумрак знакомой комнаты: обстановка её слегка покачивалась, словно в невесомой тине застоявшегося озера, — шкаф, сервант, стол со стульями и старинное трюмо колониальных времён, украшенное затейливой, местами облупившейся резьбой, плыли среди зарослей тростника, лиан, кустарников и папоротников непролазной сельвы, медленно шевелясь и плавно перемещаясь то ли от колебания воды, то ли от горячих и влажных домашних сквозняков. Лёгкие, но совсем не освежающие знойные волны набегали из приоткрытой двери, лениво овевая мокрое лицо генерала. Сознание его расслаивалось, — он одновременно видел воду и воздух, привычную мебель и буйную тропическую растительность, заполняющую углы помещения; возле кровати сидела, напряжённо вглядываясь в генеральское лицо, рыжевато-песочная пума, за ней возвышалось неподвижное изваяние пятнистого ягуара, который только подрагивал усами, застыв на своей бессменной вахте, в углу возился коати — симпатичный южно-американский енот, чем-то немного похожий на медвежонка, по лианам, которые вольно вились среди мебели и заплетали потолок, сновали суетливые обезьяны, низкорослый олень заглядывал в дверь из соседней комнаты, под сервантом пряталась коричневая древесная жаба, а на спинке кровати сидел огромный разноцветный попугай-ара. Генерал с трудом повернул голову и глянул в закрытое окно; сквозь щели ставен пробивалось ярое солнце январской сiestы, и этот белый зной, словно бы сам являясь источником света и вступая в противоборство с комнатною тьмою, побеждал её и превращал угольный мрак помещения в зыбкие сумерки, точно так, как нежное молоко превращает черноту кофе в мерцающий перламутровый колер.

Со второго этажа слышался разговор на гуарани, детские голоса громко спорили о чём-то... генерал устало прикрыл глаза: он шёл с мачете в руках за бронзово-кожим проводником, сзади вгрызались в сельву его спутники... где-то в глубине лесной чащи хрюкали, словно свиньи, обезьяны-ревуны... уставшая команда брела вперёд, сокрушая на своём пути подлесок, кусты и попадающиеся на пути громоздкие предметы мебельных гарнитуров — вот под ударом генеральского мачете пал буфет, а капитан Орефьев, следующий за командиром, молодецки разрубил пополам массивный дубовый шкаф... вот сквозь скрученные в жгуты лианы каким-то фантастическим образом всплыла огромная семейная кровать и проводник-индеец лихо рассёк её металлическую спинку, украшенную зеркальными никелированными шарами... разноцветные рыбы, большие и маленькие, разукрашенные волшебными мерцающими красками, медленно пошевеливая плавниками, сновали вокруг, и одна из них — диковинного жемчужно-алого цвета — мелькнула прямо перед лицом генерала, задев его лоб своим ласковым прохладным хвостом. Вдалеке послышался мелодичный звон хрустального колокольчика и маленький отважный отряд в недоумении приостановился, вглядываясь в густую чащу: ловко лавируя меж вековых стволов и грациозно покачиваясь на поворотах, навстречу им двигался красивый жёлто-красный трамвай; окна его не имели стёкол, а бока и кабина были украшены цветочными гирляндами, несущимися вслед вагону, словно разноцветные хвосты; позади трамвая гроыхала колёсами открытая платформа, также богато убранная огромными тропическими орхидеями и чёрными траурными лентами...

Генерал вспомнил, как был поражён видом этого трамвая, когда впервые увидел его на улицах Асунсьона. Трамвай был единственным на весь город, ходил мимо кладбища и к нему специально цепляли похоронную платформу, чтобы те, кто побогаче, могли достойно проводить в последний путь своего покойника. На руках усопшего нести было далеко, применение гужевого транспорта казалось неуважением, а автомобили с деликатным заданием справиться не могли, поскольку грузовиков в Асунсьоне в те годы не было вообще. На весь город имелось только пять легковых машин: одна была у президента страны, другая — у военного министра, да ещё три использовались в качестве такси и большею частью стояли, сверкая полированными боками, на малолюдной центральной площади в ожидании зажиточных пассажиров.

Для генерала всё было волшебным в этом городе. Последние годы он без особых надежд мечтал о подобном тихом волшебстве, желая только одного — забыть пережитые ужасы, навсегда похоронить в памяти жуткие картины новороссийской катастрофы, голодное сидение в Галлиполи, нищую Болгарию и неприветливую Аргентину. Весь 1923 год он промышкался в Буэнос-Айресе на копеечном жалованье преподавателя немецкого и французского, стоически вынес все дразги, склоки и сплетни эмиграции и вырвался наконец на свою обетованную землю, в лелеемый с детства мир индейских касиков и тропических джунглей.

С неприятным чувством вспомнил он свой первый визит в парагвайское посольство в Буэнос-Айресе; там отнеслись к нему с прохладцей, разговаривали сухо, сетовали на революционные настроения в стране, но впоследствии и даже через весьма короткое время уже с интересом обсуждали его предложения и проекты. Он давно вынашивал идею построения русского ковчега вне родины, изгнавшей его и сотни тысяч ему подобных... мечтал о собирании всего лучшего, что только мог сохранить изгнаннический мир, и это лучшее, эта квинтэссенция нации, её культура, благородство, терпимость, милосердие и сострадание, её, в конце концов, боевой потенциал и дерзость могли бы в будущем послужить основой для русского возрождения... когда царство красного дьявола выродится и погибнет... тогда будет чем заполнить выжженную землю отчизны, ибо сохранится живым зерно, здоровое и жизнестойкое, которым засеются освободившиеся от крови равнины и дадут новый, невиданный доселе, баснословный урожай...

Парагвай тоже жаждал обновления; прошло уже более полувека после кровопролитной войны с Тройственным союзом, а страна так и не оправилась после сокрушительного поражения. Долгие годы восстанавливались разорённые дотла и без того немногочисленные предприятия, железная дорога, общественные и частные здания. Не были изжиты и последствия демографической катастрофы — страны-агрессоры практически уничтожили нацию, из более чем миллионного парагвайского населения оставив в живых лишь двести тысяч, среди которых мужчины составляли только седьмую часть.

Генерал припомнил свои долгие разговоры с бывшим президентом Гондрой и военным атташе Санчесом, которые ввиду только что завершившейся Гражданской войны в стране строили свои далеко идущие планы; тогда, в середине 20-х русская колонизация казалась фантастикой, но прошло всего несколько лет и пасынки Европы хлынули на берега Парагвая и Параны.

Сидя в просторном фойе парагвайского посольства в Буэнос-Айресе, генерал спокойно и деловито излагал свои доводы в пользу сотрудничества.

— Русские офицеры, — говорил он, — прекрасно образованы, среди них есть замечательные специалисты и они послужат Парагваю, как своей новой отчизне, давшей им приют и вторую жизнь. Я убеждён, страна станет для них настоящим духовным пристанищем, там они смогут, сохраняя свои обычаи, религию и культуру, влиять на её возрождение.

— Нам нужны русские, — отвечал полковник Санчес, — мы поможем с переездом, дадим льготы, землю. Решите только информационные вопросы, может быть, понадобится организовать какой-нибудь комитет, как-то оповестить потенциальных переселенцев...

Президент Гондра согласно кивал, ободряюще поглядывая на собеседников.

Парагвайское правительство дало генералу карт-бланш, и первая дюжина русских специалистов из числа «бывших» вскорости прибыла в Асунсьон.

К началу тридцатых положение бывших российских офицеров и их семей в Европе ухудшилось, оно, впрочем, никогда и не было особенно хорошим, — пренебрежительное отношение властей, массовые увольнения и трудности устройства на новую работу, неизбывная нищета и внутренние конфликты среди недавних беженцев вовсе не способствовали безмятежной жизни. Парагвай же предлагал неплохие условия переселения, оплату дороги, огромные наделы бесплатной земли. Генерал с энтузиазмом взялся за дело — европейские газеты запестрели призывными статьями, во Франции организовался комитет содействия отъезжающим, были решены финансовые вопросы, и по южным морям потянулись бесчисленные транспорты, везущие русских переселенцев на новую Цитеру.

Сам генерал, между тем, был приглашён в столичную Военную школу преподавателем фортификации и французского языка, очень быстро стал её директором, но вскоре Министерство обороны нашло ему более достойное применение...

Рыжевато-песочная пума, по-прежнему неподвижно сидевшая возле его кровати, всё так же пристально вглядывалась в его костенеющее лицо... ягуар позади неё неожиданно зевнул, широко раскрыв рубиновую пасть и обнажив чудовищные клыки... генерал слабо шевельнул пальцами, словно желая приласкать животных, но сил не было, и его безвольная иссушенная рука осталась лежать на постели, не в силах исполнить простого желания... позади ягуара сомкнулся сухо шелестящий тростник, зверь поднял красивую пятнистую голову, и генерал увидел себя на тропе, в авангарде маленького, измученного жаждой отряда... он стоял, ожидая, пока зверь поймёт, что опасности для него нет, и уступит дорогу, но ягуар не уходил, — внимательно вглядываясь в генерала, он спокойно изучал его тшедушную фигурку, переводил умные глаза на капитана Орефьева, на барона Экштейна, и казалось, размышлял... позади ещё двое — это были братья Оранжеевы, — далее — свои, краснокожие... ягуар принюхался... да, свои, пахнут сельвой и индейским потом... он величественно развернулся, но не ушёл в заросли, а, оглянувшись, словно приглашая следовать за ним, грациозно двинулся по тропе... Путешественники, не сговариваясь, пошли следом.

Вот уже три месяца бродили они по непроходимым джунглям, погибая от голода, жажды и подвергаясь все пыткам тропического ада. Двигаться вперёд можно было только с помощью мачете, даже те индейские тропы, которые знал генерал, были завиты лианами и смыкающимися на высоте человеческого роста одеревеневшими злаками. Любая тропинка в сельве зарастает в течение нескольких дней, если только она не используется людьми или животными постоянно. Поэтому отряд генерала шёл почти наугад и не использовал наземные ориентиры, дорогу указывала стрелка компаса.

Продукты были на исходе, оставалось лишь немного вяленого мяса, несколько банок консервов, пригоршня тапиоки да мешок британских галет. Скучный скарб экспедиции тащили два измождённых мула. Коней путешественники вели в поводу, верхами шли, только выходя на открытые места, которых попадалось совсем немного. Основная часть пути пролегла через труднопроходимые дебри, где опасности таились на каждом шагу. Огромные территории центра и севера-запада Парагвая, раскинувшиеся более чем на триста квадратных километров и называемые Чако-Бореаль, в течение сотен и тысяч лет зарастали девственным доисторическим лесом и оставались местом обитания только диких зверей и немногочисленных индейских племён, среди которых, впрочем, были не только относительно мирные гуарани, чамакоко и мака, но и дикие, кровожадные каннибалы-морос. Генерал переместился в арьергард отряда и шёл теперь рядом с проводниками-индейцами Мэккэпितью и Гуражирари, настороженно поглядывая по сторонам. На вахту заступили братья Оранжеевы, — размахивая сверкающими мачете, они вгрызались в первобытную чащу. Сельва наполнилась голосами зверей и птиц, громкими, агрессивными или, напротив, едва слышными и, казалось бы, не представляющими никакой опасности; Меккэпитью внимательно вслушивался в эти звуки, пытаясь угадать их тайный смысл, потому что любой шорох, любой, самый незначительный, тихий и незаметный шелест мог стать большой бедой. Чтобы выжить здесь, нужно было хорошо понимать джунгли, знать их законы. «Несчастливое число, — думал генерал, — да вдобавок не было ещё путешествия длиннее и труднее этого». За последние семь лет он совершил дюжину экспедиций в Чако-Бореаль, занимаясь топографической разведкой и составлением карт, поиском источников воды и удобных мест для постройки оборонительных фортов. Не меньший интерес представляли для генерала и живущие в Чако индейские племёна, — всю жизнь он, как мальчишка, увлекался индейцами, интересовался их языком, бытом, культурой, обычаями и верованиями. Сколько уже пройдено дорог, сколько сделано! Генерал вспомнил, как насторожённо поначалу встречали его дикие индейские племена, как боялись его эти дети сельвы. Сколько понадобилось терпения, такта и благожелательного участия, чтобы завоевать их доверие. Генерал усмехнулся, припомнив, как потешались над ним индейцы, когда он, изучая их диалекты, пытался разговаривать на гуарани или на чемакоко. Видно, произнося новые слова, он так искажал их звучание и смысл, что индейцы просто покатывались от хохота! Но это была хорошая практика, благодаря ей он отлично изучил языки племён, свободно общался на них со

своими новыми друзьями и потом в Асунсьоне, в своей кабинетной тиши, даже составил два словаря — испано-мака и испано-чемакоко.

Глянув в сторону Мэккэпیتیю, генерал подмигнул ему и сказал:

— С такими зубами тебе, наверное, больше всех хочется есть!

Индеец оценил шутку, растянув в довольной улыбке толстые обветренные губы. Он имел мощный подбородок, тяжёлые массивные челюсти и громадные лошадиные зубы необычайно белого цвета, которыми перетирал с утра до вечера копаловую смолу, а имя его как раз и означало в переводе «Большие зубы».

Вопрос пропитания действительно стоял достаточно остро. Генерал понимал, что через пару дней продуктов не останется вовсе, а вода уже и сегодня едва плескалась на доньшках фляжек путников. Жажда — вот что было самым страшным в сельве. Источников воды здесь было немного и найти их было нелегко. Только индейцы могли указать пути к редким водоёмам. Генерал вздохнул, снял с пояса флягу и бережно прикоснулся к нагретому краю её горлышка. Вода была тёплая и терпкая, но даже мизерный глоток взбодрил его и добавил сил.

Тринадцатая, проходившая под знаком несчастливого числа экспедиция, затянулась. Предыдущие были не в пример короче. Самая необременительная оказалась двухнедельной, другие тянулись от месяца до двух. Впрочем, нынешнее путешествие и по задачам отличалось от остальных.

Машинально подрубая лианы, мешающие проходу, генерал припоминал свой недавний визит к военному министру Скенони.

Глухой декабрьской ночью министерский вестовой переполошил весь генеральский дом, напугав Алю и индейцев, ночевавших в соседних помещениях. Генерал быстро собрался и отправился на правительственную площадь. В недолгой дороге по пустынным улицам его сопровождало только пение цикад; предчувствуя не поддающуюся прогнозу перемену участи, в сумеречном свете спелой луны он подошёл к нужному подъезду.

Асунсьон спал.

Министр Скенони встретил его с радостным нетерпением и сразу подал мятый клочок грубой бумаги. Генерал вчитался. «Сильная Рука! Ты поручил охранять рубежи Питиантуты и поставил в преддверии их сторожевые знаки. Вчера в последних сумерках заката десять боливийцев на голубых мулах вторглись в твои владения. Если не явишься немедленно, Питиантута попадёт в их руки. Саргенто Тувига, вождь чемакоко». Самопровозглашённый сержант Тувига был ближайшим другом и поверенным генерала. Его племени он поручил охранять берега крупнейшего водохранилища Чако-Бореаль — озера Питиантуты.

Анализируя соотношение военных сил своей страны и соседней Боливии, генерал понимал, что в возможном противостоянии Парагвай будет быстро и легко побеждён, ибо Боливия превосходила вероятного противника и по людским ресурсам и по вооружению во много раз. К тому же Парагвай был нищ и опустошён предыдущей войной. Но генерал понимал также и то, что боливийцам, этим жителям долин и предгорий, привыкшим к более-менее умеренному климату, тяжело будет воевать во влажной, жаркой и безводной сельве. Поэтому лагуна Питиантуты имела стратегическое значение. Благодаря прежним экспедициям генерала парагвайское военное ведомство давно уже имело карты, составленные им, где были отмечены колодцы, родники и водохранилища вместе с тайными индейскими тропами, ведущими к ним; Чако-Бореаль к этому времени был относительно неплохо исследован. Кроме района Питиантуты. Тринадцатая экспедиция и была посвящена выходу к озеру и фиксации его на карте.

Второй день генерала не покидало ощущение, что отряд идёт в неправильном направлении. Компас вёл себя странно, а ночные светила определённо указывали на то, что путники заблудились. Прошлой ночью это заметил Мэккэпیتیю, проснувшись раньше всех, когда маисовые зёрна звёзд ещё не упали в джунгли с предрассветного неба. Сегодняшний день прошёл в ожидании наступления темноты; генерал хотел скорректировать путь по звёздной карте, чтобы с утра взять верную дорогу.

В густых сумерках нашли маленькую укромную поляну, развели костёр, привязали лошадей и мулов. Вечерами подступал холод, бывало, что днём маялись от жары и духоты, а ночью отчаянно замерзали. Сидя перед весело потрескивающим костром, съели скудный ужин, допили последнюю воду.

— Новый день придётся начать с охоты, ваше превосходительство, — задумчиво сказал Орефьев.

— Стало быть, придётся, — откликнулся генерал. — Только нам с вами следует молиться, чтобы мы сами не стали объектами чьей-либо охоты...

И начал, по своему обыкновению рассказывать жуткие истории о пропажах в сельве французов и аргентинцев, о нападениях на путешественников диких зверей и кровожадных каннибалов-морос. Индейцы сразу ушли и стали дозором по краям поляны; подходя к деревьям, они разговаривали с ними, чему-то горячо возражали и так же горячо задавали какие-то тайные вопросы, воздевая руки к ветвям. Деревья, по-видимому, отвечали, так как индейцы не успокаивались, а напротив, продолжали нервно отстаивать свою точку зрения. Орефьев, Экштейн и братья Оранжевые мрачно слушали генерала, устало поглядывая время от времени то на проводников, то на пляшущий огонь костра. Они и сами побывали в иных передрыгах и могли бы рассказать истории не менее занимательные, но никто из них уже не хотел тратить силы на ненужные разговоры, потому что усталость, голод и жажда, а главное, неопределённость будущего вовсе не располагали к безмятежным беседам. Хмуρο пожелав генералу спокойной ночи, они вскоре развесили свои гамаки, забились под москитные сетки, укутались, кто как мог, и мгновенно уснули.

На рассвете бивуак был разбужен дикими криками индейцев. Мэкэпیتیю и Гуражирари метались по поляне, разбрасывая на её границах горящие головёшки, и вид у обоих был такой, что, казалось, остановить смертельный ужас, который надвигается на путешественников, невозможно, остаётся лишь подвергнуть себя самосожжению, спасаясь вместе с индейскими духами вознесением на безопасные небеса. Подбежав к краю поляны, генерал услышал омерзительный хруст и шелест миллионов хитиновых панцирей. С ужасом вгляделся он в предрассветный сумрак и увидел среди деревьев и кустов сметающую всё на своём пути лавину гигантских термитов. Стена тёмно-серого цвета медленно и неотвратно надвигалась, грозя смести маленький лагерь беззащитных пилигримов. Генерал в панике схватил свой винчестер «тридцать-тридцать» и решительно вскинул его к плечу... капитан Орефьев, стоявший позади наискосок от генерала, устремляясь вперёд, медленно поднял колено, подался на линию огня и оказался сбоку от маленькой генеральской фигуры... взгляд капитана скользнул по развёрнутым плечам командира, по его вытянутым рукам, по длинному стволу винчестера... на стали ствола тускло мерцали отсветы заградительного пламени... генерал смотрел в прорезь прицела...

... впереди, в сумраке рассвета текла кипящая лава красной кавалерии, лёд залива белел перед ней и медленно исчезал, пожираемый адскою тьмою этой страшной скученной массы, этим жутким скопищем кентавров... взгляд генерала фантастическим образом приблизился... кавалерийский полк, устремлённый в атаку на невидимого врага, летел, звеня в нетерпении злобы... может, то звенели шпоры кавалеристов, а может, морозный воздух, рассекаемый горячими мордами коней авангардного эскадрона... топот копыт, колючая позёмка, стремительно летящая под заиндедевскими стременами, перекошенные ненавистью и азартом скачки безумные лица и смертоносные лезвия шашек, рассекающие жгучее ледяное пространство... генерал видел отдельные фигуры... шинели... островерхие суконные шлемы с тёмными провалами пятиконечных звёзд, колючие глаза и разинутые в беззвучных криках рты... батарея генерала стояла на высотке, расчёты нетерпеливо и нервно поглядывали то вниз, то на своего командира... генерал взял трубку полевого телефона:

— Старшего офицера!

— Поручик Стриженов, ваше превосходительство!

— Направить батарейный веер в ориентир!

— Есть направить батарейный веер в ориентир!

Генерал поднял правую руку, сжатую в кулак.

— Правые двадцать-шестьдесят, трубка шестьдесят! Орудиями правее! Огонь!

И выбросил руку вперёд, словно указывая направление.

Чудовищный грохот накрыл окрестности, снаряды попали в самую гущу атакующих, проббили лёд, и всадники в давке и суматохе стали скатываться в ледяную воду. Задние влетали в смешавшийся авангард, кони давили друг друга, бойцы тонули...

— Заряжа-а-ай! — слышались голоса командиров расчётов.

Прислуга быстро и слаженно исполнила приказ.

— Левее на две, семьдесят, трубка семьдесят! – сорвавшимся голосом закричал генерал. — Батаре-е-ея!

— Нулевая вилка! Всеми патронами! Беглым!

Прислуга застыла, зажав ладонями уши...

— Огонь!! — генерал снова резко выбросил вперёд руку и захлебнулся яростной злобой.

Снаряды рассекли атакующих почти пополам и задымили непроницаемую завесой лёд залива; когда дым рассеялся, стало видно, что только головной эскадрон продолжает лететь вперёд, ослеплённый ненавистью, остальные же топчутся на месте, пытаются сориентироваться... первые ряды арьергардных эскадронов обтекают kloкочущие полыньи и устремляются вслед за улетевшими вперёд товарищами... вихрь, дикая скорость и затмевающее разум бешенство, безумная скачка, но... навстречу уже несутся белогвардейские эскадроны! Башлыки, папахи, фуражки, закреплённые подбородочными ремнями, развевающиеся полы обледенелых шинелей, беснующиеся кони с летящими в метели хвостами... горящие пламенем обветренные лица, обнажённые шашки, алчущие вражеской крови... словно всадники Апокалипсиса неслись белые кавалеристы на врага, страстно, болезненно желая только одного — мести, мести, мести! За разрушенные дома, за разбитые семьи, за погибших товарищей! За поруганную родину, за поставленную на колени страну...

... генерал опустил винчестер, начиная сознавать тщету своих возможностей...

Полчища термитов продолжали свой неукротимый марш, и отвратительный треск их хитиновых оболочек слышался всё отчётливее. Индейцы продолжали очерчивать спасительным огнём магический круг по краям становища, остальные члены экспедиции, быстро оценив обстановку, присоединились к ним. Термиты шли как судьба, как неотвратимый рок, как Господний мор, и были не менее страшны, чем огонь и сера, льющиеся с небес на библейских грешников.

Путешественники продолжали размётывать гигантский костёр, и вскоре поляна была окружена мощным кольцом заградительного пламени. Опасаясь его могучего жара, термиты медленно, словно нехотя, стали огибать бивуак с обеих сторон, объедая по пути окрестные джунгли, они текли и текли, и не было конца этому бесконечному потоку, в котором их многомиллионная армия двигалась, ведомая неизвестными людям инстинктами к какой-то своей судьбе, к какому-то своему единственному, может быть, предназначению...

Генерал слабо застонал, и пума, сидевшая возле его кровати, вздрогнула, а ягуар подобрал мягкие лапы и заглянул ему в лицо. Оно было отёчным и влажным, глаза прикрывали тяжёлые веки, на лбу пульсировала вздувшаяся жилка. Генерал чувствовал лёгкую дурноту, жажда мучила его, и в полудрёме он продолжал ощущать боль во всём теле, которая не хотела уходить, не хотела дать отдыха измученному организму, продолжая терзать его безвольные члены. В приоткрытую дверь заглянула Аля, услышавшая бессловесный зов генерала, на минуту исчезла и снова появилась, неся в руках привычную ему круглую тыковку-калебас со свежее заваренным йерба-матэ. Он почувствовал её присутствие, открыл глаза и с трудом повернул голову. Животных в комнате не было, папоротников и лиан — тоже; привычная обстановка успокаивала, и его воспалённое воображение мигом остыло и блаженно расслабилось в nirване неожиданного короткого отдыха. Аля села на край кровати и подала ему калебас с серебряной трубочкой-бомбилей. Он поймал трубочку губами, с наслаждением потянул горьковатый матэ. Лёгкое ощущение тошноты отступило, хотя общее самочувствие почти не улучшилось. Аля забрала калебас, поправила подушку, подтянула простыню. Сидела рядом неподвижно и скорбно, напряжённо глядя в его лицо. Генерал с трудом приподнял руку, положил её на прохладную ладонь жены... Холодная ручка...

Она была ледяная, эта маленькая замёрзшая ручка! Резкий, обжигающий морозом ветер бросал им в лица сухую колкую крупу, жалил щёки, колол губы, выхлёстывал слёзы из глаз. Они сидели на заснеженной скамейке в Сапёрном переулке, недалеко от почты, где она работала, и с удивлением смотрели друг на друга. Они не понимали и всё силились понять, как в течение одного только дня могли стать друг для друга судьбой, общей дорогой, вечной роковой связью. Он смотрел в её глубокие фиалковые глаза, горевшие густым синим огнём посреди белой

метельной круговерти и думал, что она спасёт... а больше никому было спасти его, погибавшего от горя посреди этого заледеневшего мира... Он работал, отдавал распоряжения своим солдатам и принимал приказы от старших, исполнял то, что приказано, ел, спал, решал какие-то бытовые проблемы, но... он не жил, а существовал как функция, как фантом, как бесплотный дух, не способный к жизни, творчеству и вдохновению. Он думал, что жизнь кончилась, во всяком случае, она потеряла для него смысл, которым поддерживается стояние любого человека, и вот он, оставленный самым любимым, самым дорогим на земле человеком, одинокий, замёрзший на ледяном ветру внезапного сиротства, бредёт один по назначенной Господом дороге и сбивается с неё, сбивается, оступаясь в грязь, слякоть, хлябь, и не может отыскать чистого пути, потому что вокруг — тьма и пустота отчаяния. Его любимая жена Маруся ушла, едва раскрыв свою красоту, молодость, юную страсть, едва успев одарить обожаемого мужа счастьем любви... как он мечтал о вечной жизни с ней, с этим кротким созданием, едва поднимавшим глаза на собеседника, с этим ангелом, которому все были приятны и желанны. Она так любила всех... всех вообще, человечество в целом, и в то же время так улыбалась каждому в отдельности, каждому, кто встречался на её пути. Она тянулась к общению, мечтая о всемирном единении добрых и благожелательных людей, любой гость был для неё в радость, и она сама любила хлопотать на кухне, чтобы побаловать чем-то особенным родных, друзей и знакомых. Батюшка генерала (а в те годы молодого штабс-капитана), души в ней не чаял, называл доченькой, гладил по душистой головке, как ребёнка. Она и была в сущности ещё дитя, хотя отличалась уже прекрасною женскою статью; красота её озаряла своим светом всё окружающее так, как мягкое предвечернее солнце озаряет нежным теплом отходящие к отдыху веси, даря им покой и умиротворение. Они мечтали жить долго и счастливо, они радовались жизни и пытались уютно обжиться, — задолго до войны, в 1905-ом, начали строить образцовый хутор в Красной Поляне среди первобытных отрогов Кавказского хребта. Но Маруся не вынесла бремени жизни... как хрупкий садовый цветок не устояла перед холодным ветром, который степному цветку лишь на пользу... она умерла рано и оставила любимого мужа в полной растерянности... в недоумении озираясь, силился он понять опустевший мир и не мог, силился хотя бы начать движение своё по пустыне одиночества, чтобы отыскать тропинку, которая могла бы вывести его в мир людей и... только ещё более плутал, натываясь сослепу на бесконечные препятствия и преграды...

На учебном марше пришлось ему как-то заночевать с батареей в поле, среди стожков, и роскошные ароматы свежескошенной травы, кружащие голову запахи подвяленного солнцем сена оказались таким дурманом, что он погрузился в глубокий сон и до самого рассвета спал, словно опойный, а вставши в волшебном очаровании сна, вдруг с ужасом обнаружил исчезновение обручального кольца. Он смотрел на свой безымянный палец, ещё хранивший едва приметный след маленького золотого обруча — бледно-фиолетовую неглубокую бороздку, и страх медленно вползал в его душу. Он кинулся разгрести сено... подошли друзья-офицеры, солдаты, разметали стожок до основания, но кольца так и не сыскали. Он чуть не плакал, растерянно разводя руками и словно говоря: «Да как же это, братцы?!», но братцы ничего не могли ему ответить, и лишь поручик Баумгартен, отходя в сторону, пробормотал в раздумье как бы про себя: «Что ж, оказия не из приятных... стало быть, к беде...». И беда грянула... душа Маруси унеслась, оставив по себе лишь трагическую пустоту и ясное осознание невозможности утраты. Он бродил, словно призрак, безвольный, бесплотный, безучастный, с трудом понимал службу и всё делал через силу; офицеры старались ободрить его, солдаты глядели ему в глаза с молчаливым участием, родные пытались отвлечь, но ничто не помогало, ничто не могло затмить память, которая с каким-то садистическим упорством без конца воскрешала перед его мысленным взором картины безвозвратно утраченного счастья... Но вот вчера зашёл он на почту в Сапёрном переулке, чтобы отправить срочные депеши, и замер вдруг, увидев в окошечке приёма нежную барышню, поразительно похожую на покинувшую его Марусю. А сегодня они уже сидели на заснеженной скамейке, и он держал в своих ладонях её холодные ручки...

Генерал прикрыл веки... джунгли вновь надвинулись на него и в плотном сумраке полусознания едва проявились прозрачные силуэты рыжеватой-песочной пумы и величественного пятнистого ягуара... генерал нежно погладил прохладные пальцы Али, дрогнувшие под его рукой, и тактильная память услужливо проявила давнюю сцену, словно бы увиденную на

картине в обрамлении скромной декадентской рамы: он стоит со своей Зайкой рука в руке возле маленькой сельской церкви в окрестностях Дудергофа и сухонький старичок-священник благословляет их на прощание. Самый конец мая, всё вокруг цветёт и ликует... утром следующего дня, прохладным и свежим, она подкатила к церкви в сопровождении офицера-шафера в шикарном перламутровом авто. Он дождался её в церкви и вдруг услышал, как торжественно запели с хоров «Гряди, голубица». Обернувшись ко входу, он застыл в изумлении: в распахнутые настежь церковные двери, в церковный полумрак, освещаемый только дрожащими огоньками свечей, били слепящие солнечные лучи и в их торжественном сиянии появилось сначала искрящееся золотом воздушное облако, а потом из его неясных контуров соткалась обворожительная фигурка Али, убранная пеной яблоневых лепестков и осенённая невесомой кружевной фатой... Слезы восхищения выступили у него на глазах и... она была так похожа на Марусю, что ему показалось, будто это сама Маруся спустилась к нему с небес... Алю подвели к нему; она была смертельно бледна, свеча дрожала в её тонких пальцах... С хоров грянули «Исайя, ликуй», Аля вздрогнула и всё вокруг молодых пришло в движение...

Утром они нежились в объятиях друг друга, шурясь на высоко стоящее солнце, которое только краем своим из последних сил цеплялось ещё за верхнюю перекладину оконной рамы. Он чувствовал, как слабеет дьявольская рука, так долго сжимавшая мёртвой хваткой его бедное сиротское сердце и, глядя на Алю, думал: это Маруся пришла к нему снова в облике своей земной сестры... Возможно ли изъяснить то блаженное чувство, размышлял он, которое переполняет всё его существо, то ощущение наступившей наконец свободы и предчувствие полёта? Как описать свою благодарность этому ангелу, где найти такие слова, которые смогут передать восторг и упоение возрождающейся жизнью? Какое это счастье — жить для любимой, заботиться о ней и охранять её от невзгод! Он обнял свою Зайку и всю грудь вдохнул её волшебный запах, — она пахла ржаным полем и смородиновым листом, мёдом и солнцем, — и не было слаще аромата во всём белом свете...

Но тут потянуло горячим и влажным сквозняком, и Алечкины запахи покинули его, а на смену им снова явились тяжёлые испарения глухой сельвы. Генерал с трудом шёл вперёд, поглядывая на своих мрачных сопутников; люди уже который день страдали от голода и жажды, а конца пути всё не было видно. Даже определив верное направление пути, они никак не могли добраться до Питиантуты, слишком основательно заблудился их маленький отряд.

Потревоженные шумом движения людей попугаи срывались с деревьев впереди них и улетали куда-то вглубь чащи, стая ревунов вдруг проскакала по лианам, сопровождая свой бег дичайшими звуками, напоминавшими то злобное хрюканье свиней, то звуки битвы львов, то бляение коз, то лай собак. Обезьяны неслись стремительно, перескакивая с ветки на ветку, с лианы на лиану, но Мэккэптию и Гуражирари опередили их: во мгновение ока вскинув винтовки, они дали залп по убегающей стае. Две обезьяны упали в подлесок. Индейцы издали боевые кличи и кинулись в заросли за добычей. Тушки были маленькие, не более полуметра, но люди обрадовались, задвигались живее; найдя более-менее удобную прогалину, быстро соорудили подобие вертелов и стали разводить костёр. Однако спустя несколько минут все разбежались по краям поляны, зажимая носы, — индейцы принялись опаливать обезьяньи тушки над огнём, и чудовищный смрад накрыл волной всё вокруг. Тем не менее, голодные люди с вожделием следили за действиями проводников или, лучше сказать, применительно к моменту — поваров и, когда мясо было готово, не стали ждать даже приглашения; усевшись перед костром, рвали суховатое жёсткое мясо руками и ели быстро, жадно, обжигаясь, — как настоящие первобытные охотники. Генералу казалось, что он ест маленьких детей, — тушки после обработки и жарки стали ещё меньше, — но... голод не тётка и теперь по крайней мере можно было с новыми силами продолжать путь...

Подкрепившись, отряд двинулся вперёд в направлении, указанном генералом, и вскоре ведомые индейцами путешественники вышли на открытое солончаковое пространство. Все сели на коней, только проводники продолжали идти пешком, ведя за собою двух мулов, нагруженных экспедиционным скарбом. Генерал привычно устроился в седле; мерное движение лошади, мягкий перестук копыт почти сразу укачали его и он задремал на ходу. Приятно пахло конским потом... кожа поводьев удобно лежала в руках... и вот в тенетах тягостной дремоты, на фоне размытых очертаний виднеющейся вдалеке сельвы генерал увидел себя на статном жеребце

редкой караковой масти среди неведомо как выплывшего из палым чахлового хвойного леса в преддверии Лабы...

...Небольшой отряд кавалеристов — казаков и черкесов, осторожно ступая, пробирался к реке, надеясь найти переправу и догнать ушедшие вперёд врангелевские авангарды. Всадники кутались в башлыки, на мордах коней поблескивал иней... холод усиливался, и лапы сосен прихватывало колючей изморозью. Отряд шёл тихо, стараясь не шуметь и не бряцать оружием, потому что вокруг залегли красные тылы и можно было легко напороться на засаду. Спускаясь потихоньку по пологому склону, кавалеристы увидели вдруг впереди, в узкой ложбине конный отряд красных и остановились. Обойти ложбину было никак нельзя, сверху хорошо просматривались ближайшие окрестности: выход к Лабе блокировала тянущаяся на несколько километров вперёд узкая, но недоступная для коней балка, справа громоздились голые и скользкие утёсы, а слева в некотором отдалении были видны позиции красных. Обходные пути не просматривались.

— Ваше превосходительство, — обратился к генералу князь Бетуганов, — патронов почти нет, не пробьёмся...

— Авось пробьёмся, — отвечал генерал, — в шашки возьмём их! Нам назад пути нету — красные там, пожалуй, из нас ремней нарежут!

Вражеские кавалеристы числом раза в три превосходили маленький отряд генерала, да и позиции их располагались совсем рядом, но деваться было некуда, тылы казались более опасными, чем молниеносный рейд с фронта. Здесь во всяком случае был шанс.

И тогда, направив притихшего коня к краю ложбины, генерал тихо скомандовал:

— Шашки — вон!

Всадники обнажили шашки, приосанились и... взяли коней в шенкеля; маленьким вихрем влетели они в ложбину и с налёту начали рубить красных, но те, растерявшись лишь на мгновение, быстро повернулись лицом к опасности и приняли бой. Они наседали, побеждая числом, и каждый казак или черкес сражался с двумя, тремя, а то и с четырьмя врагами одновременно. Кто-то выстрелил, генерал с тревогой глянул из-за плеча в сторону красных позиций, — оттуда неслась галопом беспорядочная толпа всадников с обнажёнными шашками. Выстрелы грохотали где-то совсем рядом, и вот уже рухнул на землю поручик Нижерадзе, а следом за ним повалились казаки Калмыков и Шлыков... вот князь Бетуганов вскрикнул и упал, а красные наседали, но ещё не подоспела к ним подмога, и генерал лихорадочно думал, что можно успеть, можно пробиться, можно вырваться из этих стальных клещей... вот сбоку от него тускло блеснула шашка и на круп коня свалился с разрубленной ключицей есаул Попов, а славный капитан Надзиров в окровавленной черкеске с парадными серебряными газырями, привставши на стремянах, яростно отбивался от наседавших со всех сторон кавалеристов... никому из них не давал он зайти себе за спину, гарцевал и изворачивался до тех пор, пока один из всадников, вылетевших на обочину боя, — в белой исподней рубашке, от которой на морозе валом валил пар, — не вскинул правой рукой обрезанную винтовку... капитан уверенно отбивался, вот он ловко увернулся от рокового шашечного удара, но ненароком оголил спину и стал на линию огня... всадник в исподнем выстрелил с бедра, и лошадь его, шарахнувшись в сторону от дульной вспышки, сделала зигзаг... пуля попала Надзирову под левую лопатку, он ещё успел обернуться и увидеть своего убийцу, который, торжествуя, поднял лошадь на дыбы... но тут генерал резко развернул своего Буяна и кинулся к нему, взяв шашку наизготовку... несколько диких скачков и Буян с размаху налетел на лошадь противника, толкнув её своею мощною грудью... лошадь попятилась, открыв седока для удара... генерал вывернул плечо и... обрушил свою клокочущую ярость на врага! Белую рубаху мгновенно залило кровью и мёртвое тело вылетело из седла, с глухим звуком грохнувшись под копыта генеральского коня... Буян отпрянул и захрапел, с морды его летела пена... крутясь в бешенстве на узком пяточке боя и чутко воспринимая бешенство хозяина, он рвался на простор, туда, где можно полететь стрелой и слиться со звенящим ветром... Генерал видел, как один за другим падали бойцы, — вот подпоручик Уздемиров выронил шашку, а штабс-капитан Ашхунов покачнулся в седле и схватился за плечо, зажимая разверзшуюся рану, вот мальчик-вестовой Афонин вздрогнул от удара пули и уткнулся окровавленным лбом в спутанную гриву лошади... гибель, гибель... генерал в отчаянии дёрнул поводья, развернув Буяна в сторону несущейся со стороны красных позиций лавины кавалеристов и с ужасом понял, что он — один против этой смертоносной силы,

что товарищи его полегли задаром на холодном клочке изрытой копытами земли и что сам он — на волосок от гибели...но надо спастись пока не поздно, иначе — ждут его позорный плен и бесславная гибель...

— Енерал! — крикнул кто-то, и все разом повернули к нему коней.

Но он опередил врагов; Буян сам ринулся сквозь частокोल шашек к спасительной тропинке и красные в изумлении расступились, пропуская его... он вылетел из ложбины и помчался по целине к спасительному берегу Лабы, а преследователи, меж тем, сгучились в узком проходе и никак не могли выбраться наверх. Генерал скакал, роняя слёзы, которые тут же замерзали на жёстком морозце, Буян мчался изо всех сил, и уже видна была вдалеке тяжёлая и холодная, но ещё не схватившаяся льдом река, а погоня уже неслась следом с гиканьем и матерными выкриками; комья мёрзлой земли вылетали из-под копыт коней, всадники летели в струях ледяного воздуха, упоённые победой и в предвкушении поимки последнего врага, лошади хрипели, злобствуя, и не было конца этой безумной скачке... Генерал вылетел на крутой обрыв и осадил разгорячённого коня: высота была жуткой, метров восемь-десять, не менее, — Буян раздумчиво понюхал край обрыва и как бы в нетерпении взрыл копытом подмёрзшую землю. Всадник глянул вниз, сердце его затрепетало, он нерешительно дёрнул поводья и отвёл коня...

Конь дрожал, чувствуя настроение хозяина... это был такой конь, какие редко случаются даже и в кавалерии... чудный конь, волшебный, всё понимающий, конь с почти человеческим сознанием...

...До него было у генерала два жеребца, но ни с одним из них он не сжился, а когда впервые увидел Буяна, зашедшего на смотрины в манеж, гордо оглядевшегося да своевольно тряхнувшего головой и чуть не вырвавшего поводья из рук берейтора, вот тогда он и понял, что это его конь, его будущий друг и верный товарищ. Не жалко было за такого коня шестисот рублей, которые просили, потому что стоил он гораздо более того, да и вообще бесценный был конь, норовистый, гордый и благородный. Могучая грудь, стальные ноги, безукоризненный постав, караковая масть... Конь-птица, конь-слава! В глазах — кураж, в звонком ржании — медь! Знатный конь, редкий конь! Прежний владелец его, адъютант лейб-гвардии 3-его стрелкового батальона поручик Лытиков, даром что борец, могучий молодой красавец, а не мог совладать с норовом Буяна, не мог удержать его, и тот всякий раз выносил хозяина из строя. А нынче стоял он в манеже и подтанцовывал в нетерпении, и раздувал ноздри, и выставял роскошный хвост...

— Ваше превосходительство, — сказал берейтор, видя нетерпение и восторг генерала, — да вы не сумлевайтесь, я вам его в четыре недели выезжу, миленького, — послушный будет, как овечка. Истинный крест, сами убедитесь!

И что же? Выездка, действительно, удалась на славу, да только на первом же смотре, едва заслышав барабан, вылетел он из строя, как пробка из шампанской бутылки и чёртом скакнул через дальний сугроб! Как он баловал, как буйствовал, с каким изошрённым упоением показывал норов свой! И опасные штуки выделывал иной раз, такие штуки, на которые глядя, опытные лошадики только цокали языками укоризненно да с великим осуждением.

— Охолостить бы его, ваше превосходительство, — говорил просительно батарейный конюх, — ведь зашибёт он вас, как есть зашибёт!

— Нет, братец, — отвечал генерал, — я скорее себя дам покалечить, нежели его, уж ты не обессудь. Что ж это за жеребец-то будет с твоей фантазией... баба, а не жеребец!

А конь словно чуял, что хозяин печётся о нём и не хочет давать его в обиду, да и не даст никогда, — так озоровал, так шалил, что коли б не был генерал природным коневодом, то и беда легко могла бы случиться.

А сколько раз вставал он на дыбы, грозя повалиться на спину и задавить хозяина! И однажды чуть не задавил-таки, не удержавшись на двух ногах и грохнувшись со всего размаха о ледок плаца! Слава Богу, успел генерал выскочить из-под него, не то не уберёгся бы ни за что... Но уж потом как виновато смотрел он на хозяина, как смиренно топтался возле, словно бы говоря: «Эх, брат, уж и пошалил я вволю, самую малость не сгубил тебя, ты не тужи, больше шуток не стану впредь шутить...». И действительно, с тех пор забыл он, как становится на дыбы, да и присмирел. Но зато как начинало биться генеральское сердце, да как разгоралась кровь его, так и конь, чувствуя это, начинал играть всей душою своею. Дерзким ураганом летал он в скачках, опережая всех, взмывал над препятствиями, словно был на гигантских пружинах, а случался

спуск, так садился на окорока да съезжал вниз, нимало не заботясь о своей атласной шкуре. Буйный и норовистый в деле, становился он пайнкой, едва лишь подсаживали в его седло Алю или какое-нибудь случайное дитя; тогда шёл он смирно, сторожко, тщательно выбирая дорогу, и всё косил своим чёрным глазом — как там, дескать, мой драгоценный груз? Добрый конь, добрый! Генерал любил его и берёг пуще глаза, и более всего нравилось ему обнять Буяна за шею, прижаться щекой к его чёрной с рыжими подпалинами морде, потрепать по гриве, да поцеловать в мягкие и нежные храпки...

... Красные, между тем, неслись вперёд и были уж совсем близко, их стремительное приближение не оставляло времени для сомнений: пули свистели вокруг и норовили, впившись, ужалить... генерал тряхнул головой и решился, — развернув коня, он дал ему ходу и поскакал навстречу красной орде, но на полпути резко развернулся и, бешено гикнув, помчался к обрыву... пули обгоняли его, а он гнал Буяна, дерзко стремясь обогнать их, но пули улетали вперёд, а он всё отставал... он ещё надал, конь же, чувствуя решимость хозяина, взвился в предельном напряжении и полетел, бешено перебирая сухими ногами... вот уже снова виден край обрыва и медленная, тягучая ртуть Лабы... генерал сделал над собой усилие и грубо взял верного товарища в шенкеля!! Буян вдохнул полной грудью холодный колючий воздух, оттолкнулся от края обрыва и бешеным рывком скакнул в небеса... генеральское сердце ухнуло в бездну, ужас охватил его... они летели, и конь продолжал перебирать в воздухе ногами... медленно... медленно... плавно металась по сторонам грива и развевался плывущий по струям упругого воздуха хвост... они всё падали и падали, и эти несколько секунд падения растянулись для генерала в какую-то бесконечную временную нитку, которая как с клубка разматывалась и разматывалась, не зная предела, но вот он наконец прямо перед собою увидел воду, жёсткую, серо-фиолетовую, почти чёрную воду, судорожно глотнул влажный морозный пар, поднимающийся от реки, и тут конь плашмя рухнул в эту жуткую смертоносную ртуть и содрогнулся всем телом вместе со своим хозяином... Ледяная вода обожгла обоих, взметнувшись разбуженными струями к пасмурному небу и рассыпавшись бусинами капель над их головами, а маленькие тонкие льдинки в том месте, где они упали, разлетелись веером во все стороны... Конь подобрался и поплыл, генерал соскользнул с седла, чтобы дать ему возможность свободнее двигаться, и поплыл рядом, держась рукою за стремя... Буян плыл, отфыркиваясь и супротивный берег был как будто бы рядом, но оба они страшно замёрзли и каждый рывок вперёд давался им с огромным трудом... с обрыва сыпались пули, но они не обращали на них внимания... конь плыл и тащил за собой хозяина... этот заплыв казался генералу вечностью, они плыли и плыли, и вот уже пули, утратив свою горячность и жадную злобу, стали падать с неба просто как камушки, а вскоре и вовсе исчезли. Генерал глянул вверх: вдалеке, на кромке обрыва топтались всадники... вот они закинули винтовки за спины, вложили шашки в ножны, развернули коней, свистнули, и во мгновение ока скрылись из виду...

До берега оставалось совсем немного, но генерал тянул уже из последних сил; шинель его, намкнув, стала неподъёмной и всё сильнее влекла на дно, холод казался невыносимым, тело совсем перестало повиноваться, и он почти бессознательно хватался за стремя, пытаясь удержать его сведёнными судорогой пальцами. Буян тащил его и время от времени слегка поворачивал голову, кося чёрным глазом, как бы спрашивая: «Ну как ты, брат? Ничего, держись, авось прорвёмся...» Они плыли и плыли, и вышли наконец на берег скрученными от холода жгутами, выползли из воды полумёртвыми сгустками погибающей биомассы, души их почти отлетели и только последними пёрышками своих невесомых крыльев ещё кое-как держались за измученные тела своих хозяев. Генерал сразу упал на подмёрзший песок и не мог встать; Буян очнулся первым и подошёл к нему, склонив голову и предлагая взять свисающие поводья. Вид у обоих был невыносимо жалкий; конь отряхнулся и парил на морозце, а генерала всё притягивала к земле мокрая шинель, как тянула она его только что ко дну. Наконец он скрепился и искореженною рукою ухватился за поводья. Буян с усилием потащил его по пологому берегу...

Вечером они были в расположении врангелевцев. Арьергардные обозы заметили среди редких деревьев бесхозного коня, солдаты добежали и увидели заледеневшего генерала. Он был жив, но не мог двигаться. Штаб и основные силы уже располагались в деревне, его быстро домчали до тепла и уложили в полевой лазарет. Буяна поставили в тёплую конюшню, обсушили, укрыли попонами, дали лучшего овса, но простоял он только ночь и половину следующего дня.

Когда пришедший в себя генерал явился навестить верного товарища, Буян лежал в стойке на копне свежего сена и его колотила лихорадка. Ветеринар смерил ему температуру, термометр показал сорок два градуса! Конюх сидел на корточках возле коня и сокрушённо качал головою. Дышал Буян с трудом, часто и неглубоко, бока его судорожно вздымались и опадали. Генерал присел рядом, положил руку на голову друга; конь вздрогнул и скосил страдальческий чёрный глаз на хозяина. Ветеринар тихо сказал:

— Крупозное воспаление лёгких! Смотрите: сильная одышка, цианоз... Не выживет, стало быть...

— Выживет! — вскричал генерал, вскакивая. — Выживет! Что хотите делайте! Спасите коня! Возьмите деньги... сколько вам надо? Всё, что хотите! Вы же можете его спасти!

Ветеринар тяжело вздохнул отвернувшись.

Буян протянул ещё пятеро суток. Всё это время генерал не отходил от него, ставил спиртовые компрессы и горчишники, вливал ему в горло лекарство, поил, пытался кормить. Солдаты принесли две пары шерстяных чулок, натянули ему на ноги, сверху укутали тёплыми попонами. Вечером последнего дня Буяну стало хуже. Генерал послал за ветеринаром.

— Измучился, бедолага, — сказал ветеринар. — Разве новокаину попробовать?

И вколол коню новокаин.

Генерал сидел на корточках возле Буяна рядом с конюхом и оба плакали.

— Бедный, бедный, — говорил конюх, — у меня всегда так: ежели вижу гибель доброго коня, нету удержу — непременно плачу...

Ветеринар, стоял рядом, сокрушённо теребя бородку.

Тут за стеною конюшни кто-то из казаков провёл лошадь, она заржала, адресуясь то ли к хозяину, то ли к иным лошадям. Буян вдруг поднял голову и ответил ей громким ржанием.

— Вишь ты, — сказал конюх, плача, — у его жисть кончается, а он нраву не бросает...

Генерал стиснул зубы и сжал кулаки.

Буян положил свою красивую чёрную морду с рыжими подпалинами на копёнку сена и так лежал, тяжело дыша; ноздри его раздувались, в глотке клочотало, живот тяжело опускался и подымался... снова скосив чёрный, уже совсем безвольный глаз в сторону генерала, он виновато глядел, словно бы говоря: «Что ж, брат, прости как-нибудь, такая, знать, судьба...»

Ветеринар опять вздохнул и вышел из конюшни.

Буян неожиданно задвигал ногами... быстрее, быстрее, словно хотел поскакать куда-то... но вот движения его стали затихать... он всхрапнул как бы с облегчением и... вытянулся...

Генерал закрыл лицо руками и зарыдал.

Экспедиция вновь подошла к стене джунглей. Солончаки остались позади. Все спешили; генерал влажными глазами взглянул на свою лошадь, с чувством потрепал её по упругим ушам, положил руку на её широкий, прикрытый шёлковой чёлкою лоб... Офицеры выстроились друг за другом и взяли за мачете. Индейцы, собрав лошадей и мулов, передвинулись в конец процессии.

Сельва снова встретила путников угрюмой сумеречной влажностью, криками птиц и животных, паутиной лиан и непроходимыми колючими кустами. Индейцы предупредили генерала, что экспедиция вступает во владения каннибалов-морос, которые известны своей агрессивностью и непредсказуемостью.

Голод и жажда опять мучили людей, все исхудали, обросли щетиной и, не имея возможности поддерживать хотя бы элементарную гигиену, страдали от грязи и едкого тропического пота. Воду для питья находили иногда в воронках больших листьев, а умываться было совсем нечем. Большую проблему создали себе, когда нашли дикий мёд и, окурив дупло сейбы, где он хранился, ограбили пчёл-хозяев. Сражения с ними благополучно избежали, благодаря умело созданной плотной дымовой завесе, но, съев мёд, перепачкали свои отросшие бороды, особенно барон Экштейн, украшение которого широченной лопатой лежало на его могучей груди. Мёд сросся с волосами, закаменел и стал соблазнительной приманкой для всех насекомых, находившихся в радиусе двух-трёх километров от маршрута группы. По загадочным обстоятельствам бесчисленные мухи, осы и комары не трогали Мэккэптию и Гуражирари, а распухшие от укусов и расчёсов лица офицеров являли собой настоящие юмористические шаржи. Эта пытка должна была затянуться по расчётам генерала как минимум на неделю, до

выхода на берега Питиантуты, а пока приходилось дополнительно тратить огромные усилия, безостановочно отмахиваясь от докучавших насекомых.

Путники, сменяя друг друга, становились впереди отряда и врубались в сельву, следуя направлению, которое указывал генерал и корректировали индейцы, сообразуясь со своим знанием местных условий. Лейтенант Оранжереев собирался уже сменить шедшего впереди брата, как тот вдруг вскрикнул и рубанул мачете изо всех сил по толстой одеревеневшей лиане. То, что бредущие позади путешественники поначалу приняли за лиану, оказалось на поверку гигантским пятиметровым удавом, который распавшись от смертельного удара надвое, повис обоими своими частями над головами путников. Генерал тут же скомандовал привал, индейцы развели костёр, разрубили добычу на куски и через некоторое время уже жарили их на яростно шипящих углях. Мясо было рыхлым, пресным и напоминало непроваренную рыбу, вдобавок отдавало затхлым болотом, но все ели, не обращая никакого внимания на эти гастрономические тонкости, поскольку нормальной еды в ближайшее время всё равно не предвиделось. Генерал отметил про себя, что удав на пути — хороший знак, ибо эти рептилии селились обычно поблизости от водоёмов. Прислонившись спиной к дереву и вытянув ноги в сторону костра, он доедал свой кусок и перебирал в памяти все трудности и опасности, которые пришлось пережить его экспедиции. В сельве следовало опасаться каждой мелочи; любой куст, ветка, любое невзрачное насекомое или маленькая змейка могли стать источниками очень больших неприятностей, не говоря уж о том, что тут не исключались стычки с хищниками или с коварными каннибалами. Самой большой опасностью были змеи, они таились в высокой траве, часто не замечаемые, лежали, свившись кольцами под широкими болотными листьями или в высокой траве, часто свисали с лиан, как тот удав, которого сейчас доедали, да и удав не был так опасен, как незаметные, сливающиеся с почвой злобные ядовитые гады. Сколько раз в своих бесчисленных экспедициях генерал наступал на них, не оглядев внимательно дороги, сколько раз падали они ему на голову с веток деревьев или с лиан...

... Он представил себе деятелей русского зарубежья в виде огромного скопища маленьких и больших змей, населяющих тёплый террариум европейской иммиграции. Впрочем, и здесь, в Парагвае, были люди, которые дискредитировали идею русского ковчега, русского очага, которые не верили в возрождение России и всячески мешали генералу в его начинаниях. В Европе «бывшие» давно перегрызлись между собою; мало того, что ОГПУ периодически вырывало из их рядов наиболее заметные фигуры, так ещё и сами они не желали жить в мире и находились в состоянии перманентной войны друг с другом. Какие-то кланы, объединения, какие-то чуть ли не рыцарские ордена постоянно враждовали, поливали грязью один другого, а другой — третьего в газетах и никак не желали примириться, не говоря уж о сотрудничестве и взаимодействии. Ещё в Буэнос-Айресе генерал столкнулся не просто с непониманием, а с истинным нежеланием иммигрантов-старожилов видеть новых конкурентов из Европы. Его и самого принимали в русских домах неохотно и с недоверием, чему способствовали слухи и откровенные клеветнические вымыслы. Кое-кто из русских, приехавших и укоренившихся здесь ранее, осмеливался заявлять в приличном обществе, что генерал — шарлатан и обманщики, кстати, вовсе не генерал. Отношение ко вновь прибывшим было здесь ужасное, ходили слухи, что в Аргентину из Европы готовится чуть ли не тридцатитысячный десант бывших белогвардейцев, которые по прибытии непременно станут претендовать на самые тёплые места. Старожилы не хотели конкуренции и боялись её.

Генералу припомнилось, как настоятель местного прихода отец Изразцов рассказывал о том, что он лично остановил прибытие двух тысяч русских из Варны. Посетив президента Альвеара, батюшка посоветовал ему не допустить вторжения в страну «эмигрантского рванья», и итогом этого посещения стало увольнение аргентинского консула в Болгарии и аннулирование виз. Несчастных, которые уже погрузились на пароходы, вместо Буэнос-Айреса доставили в Одессу, где большевики, не спрашивая фамилий, тут же поставили всех к расстрельной стене.

— Может быть, вы считаете это делом чести? — спросил тогда генерал у священника. — Ведь вы русский!..

...Щурясь на остывающие привальные угли и с неодобрением размышляя о съеденном удаве, генерал вспоминал свои первые дни в Асунсьоне. Городок живо напомнил ему российские провинциальные селения самого начала века, где патриархальный уклад соседствовал с

бессознательным увлечением современным прогрессом, который выражался в живейшем, если не сказать болезненном, интересе к железной дороге. Доброжелательность и радушие жителей, спокойная, размеренная жизнь, дешевизна продуктов, тишина, даже какая-то ленца во всём укладе, — всё располагало к созерцанию и умиротворённости. Генерал почти сразу утратил тут постоянное в последние годы ощущение опасности, потерял чувство настороженности. Город был полон зелени, солнца, света, базар ломился от фруктов и овощей, лица прохожих сияли лучезарными улыбками, глаза у всех были доверчиво распахнуты, и никто не глядел хмуро, а напротив, глядели добродушно и благожелательно. Полицейские и солдаты ходили по улицам босиком, держа свои ботинки в руках, или перекидывали их, связав шнурками, через плечо. Барышни также демонстрировали свои крепкие щиколотки и тугие загорелые икры, правда, только в переулках, а подходя к центру, надевали чулки и туфли. Дети плескались в фонтане на главной площади, в тени высоких деревьев с достоинством отдыхали мулы, а на улице Пальмас нищие оборванцы совсем как русские мальчишки где-нибудь в Рязани играли в пристенок. Славный городок! Генерал улыбнулся, прикрыв глаза... славный городок и, главное, он сразу нашёл в нём своё место... Прибыв в Парагвай в самом начале марта, он уже в июне читал фортификацию в Военной школе, преподавал французский в Коллегии и очень скоро получил от военного министра разрешение на приглашение русских специалистов из Европы. Приезжим предлагались гарантии правительства, все права парагвайских подданных и жалованье ни много ни мало — от двух с половиной до пяти тысяч песо, а ведь это было содержание депутатов и сенаторов!

Генерал сразу же развернул кипучую деятельность и с помощью друзей опубликовал в белградском «Новом времени» страстный призыв ко всем русским изгнанникам.

Он снова заглянул в бездонный колодец уснувшего огня, в малиново-золотые, дышащие скрытой силой раскалённые головёшки костра, возле которого уже подрёмывали его товарищи, подобрал попавший под руку суковатый прут и расшевелил им рубиновые, играющие весёлыми искрами угли. Он помнил, хорошо помнил свой восторг, своё вдохновение, когда писал наполненные отвагой и искренней верой строчки, зная, что они также точно, как эти раскалённые угли, будут зажигать патриотическим пламенем погасшие было сердца.

В Парагвае, писал генерал, можно оставаться русским и при этом не чувствовать себя иностранцем, в этой бедной, обескровленной недавней войной, но возрождающейся стране можно жить и приносить пользу людям, можно уберечь детей от верной гибели, сохранить их жизни и души. Здесь никто не станет смотреть на потрёпанную одежду или изношенную обувь, здесь никто и никогда не попрекнёт куском хлеба, здесь можно быть необходимым и даже незаменимым, а главное — здесь можно сохранять себя для будущего России...

Тысячи писем посыпались в ответ.

В Париже был создан Колонизационный центр под патронажем атамана Богаевского, и вскоре из марсельского порта один за другим стали отходить транспорты в Южную Америку. Колонисты прибывали группа за группой, получали землю, создавали станицы, строили дома, церкви, школы, но... генералу снова представились разномастные змеи, свившиеся в омерзительный клубок... в Европе его начинания поддерживали конкретные люди, имевшие большой вес и влияние в иммигрантской среде, но с уходом из жизни Врангеля, Богаевского, с похищением агентами советской разведки Кутепова, освободившиеся места идейных лидеров русской общины заняли совсем другие фигуры. Они считали идею патриотической эмиграции глубоко порочной и мешающей планам тех организаций, которые с помощью активно вооружающейся Германии готовились вырвать с корнями ядовитые насаждения большевизма. В самом же Парагвае за дело разрушения русского ковчега взялись влиятельные военные Эрн и Бобровский, которые по гроб жизни должны были быть благодарны генералу за своё спасение от европейской нищеты, ибо именно он, личными силами и личными средствами помог им утвердиться в стране. Движущей силой разрушительной машины был некто Шлезингер, банальный бандит и убийца, отличившийся ещё в 1905-ом ограблением под революционный шумок филиала Московского купеческого банка в Фонарном переулке. Через Финляндию и Германию он в своё время пробрался в Парагвай и сумел вывезти награбленное золото и драгоценности. И вот этот-то человек, опасаясь за своё влияние в столице, всячески мешал практическому осуществлению русской колонизации. Генерала шельмовали, извращали его идеи и бойкотировали проекты; вдобавок в Париже образовались альтернативные центры содействия будущим переселенцам, но... на коммерческой основе. Серьёзное дело, как это нередко бывает,

возглавили проходимцы. Патриотическая идея превратилась в средство добывания неплохих барышей, на ней стали наживаться, и это полностью извратило смысл колонизации.

Воспоминания и размышления утомили генерала, лёгкая дремота стала одолевать его, засыпая, он ещё успел разглядеть, как скользкий клубок медленно извивающихся змей начал распадаться, разваливаться, и вскоре разноцветные, разнокалиберные ленты, вкрадчиво шипя, устремились в высокое влажное разнотравье...

Он лежал в липкой дремоте и не слышал, как вошла Аля, не ощутил, как она вколола ему морфий и потихоньку вернулась в соседнюю комнату... дверь за ней закрылась, и он вдруг почувствовал густой запах свежего табака и сразу следом — табачного дыма, с трудом приподнял тяжёлые веки и его воспалённому взору вновь открылось пространство комнаты... ягуара не было, пумы не было... только сельва продолжала стоять стеной... в углу висела паутина лиан, среди которых порхала стайка разноцветных колибри, оперением и весёлой суетой так похожих на больших бабочек... перед постелью сидел древний касик-гуарани, который курил длинную расписную трубку и внимательно смотрел на генерала. На его лице рос рыже-зелёный мох, руки были покрыты бахромой лишайников и нитями низкорослой травы, из бугристой кожи покатога черепа, присыпанного красной землёй, пробивались речные водоросли... Генерал вспомнил старика, он познакомился с ним ещё в самой первой своей экспедиции и уже тогда он произвёл на него неизгладимое впечатление. Он явился в сопровождении Саргенто Тувиги, в те годы ещё не сержанта, но уже претендента на звание касика.

— Ему четыреста тридцать лет, — сказал Саргенто Тувига, — и он уверяет, что знает тебя.

— Я знаю тебя, — подтвердил старик, — твоё имя — Алехо Гарсия.

— Нет, — возразил генерал на гуарани, вкладывая в короткое отрицание столько почтения, сколько можно было бы вложить, обращаясь по меньшей мере к царственной особе, — нет, уважаемый, моё имя звучит по-иному...

— Ты — Алехо Гарсия, — упрямо повторил старик, — я помню тебя... четыре столетия назад ты разбился у побережья материка и попал в наше племя... ты женился на дочери нашего касика... ты первым из бледнолицых увидел равнину Гран-Чако и Боливийское нагорье... ты быстро изучил наш язык и полюбил слушать наши сказания... Мы рассказали тебе о стране Белого царя, раскинувшейся далеко на западе среди неприступных гор... а горы там сплошь из золота и серебра... Ты пожелал завладеть этими сокровищами...

— Это было очень давно, — снова возразил генерал, — я тогда ещё не родился...

— Это лишь одна из твоих жизней; тогда тебя звали Алехо Гарсия... Это был ты, я точно знаю... ты был по-другому одет и лицо у тебя было другое... но это был ты... Возжелав сокровищ Белого царя, ты собрал двухтысячное войско наших братьев и касик благословил нас... я тоже состоял в твоём войске, разве ты не помнишь меня? Мы преодолели горную гряду, протянувшуюся вдоль восточного побережья, и долиной вышли к устью Игуасу. Там где Игуасу впадает в Парану, мы наткнулись на водопады, низвергающиеся с неба, и нам пришлось обходить их много дней и ночей... А потом мы смастерили каноэ, покрытые корой окрестных деревьев, и переплыли Парану и Парагвай... Неужели ты всё забыл? Неужели не помнишь, что уже тогда от края до края ты прошёл глинистую равнину Гран-Чако и подобрался к предгорьям Анд? В скольких битвах и схватках рубились мы, сколько селений подвергли разбою и уничтожению! Под правой лопаткой и на левом плече у тебя должны быть отметины инков... плечо — медный топор, спина — золотой макан...

— Да, — отвечал в изумлении генерал, — но эти раны я получил на Великой войне в начале шестнадцатого года...

— Нет... нет, — отвечал старик, — это инки, это их отметины... Тебя ранили при отходе, когда мы первый раз потерпели поражение... ты не стал испытывать судьбу... мы захватили огромное количество золота и серебра, столько, сколько могли унести, и отступили... а потом вернулись домой и старый касик сказал: «На что нам этот жёлтый металл? На что нам этот белый металл?» Ведь мы всегда воевали лишь с теми, кто нападал на нас... Мы воины, а не убийцы. «Что наши духи скажут на это?» — добавил касик тогда. Наши духи ничего не сказали, но в будущем году они послали тебе отравленную стрелу в одном из столкновений с враждебными племенами...

... Генерал лежал неподвижно и вглядывался в глаза старика, который в свою очередь продолжал пристально смотреть на него. Тяжёлые воспалённые веки, расширенные зрачки... покрытые густой сетью кровеносных сосудов белки очень старого и очень больного человека... Бесконечное страдание, усталость и... невысказанный вопрос: «Что наши духи скажут на это?» В правой руке у генерала были зажаты золотые часы от Буре, подаренные ему любимой тётёй Лизоней, с которыми он никогда не расставался, а левая лежала вольно простёртая вдоль тела. Старый касик ещё долго смотрел на него, как будто ожидал чего-то или что-то взвешивал, потом вздохнул, поднялся и вложил в его свободную ладонь жёлтое маисовое зерно.

— Ты искупил, — сказал он, — сегодня ты уже искупил...

И начал таять во влажном мареве сельвы. Но тут генерал сделал слабый протестующий жест, пытаясь остановить старика, и протянул в его сторону свои драгоценные часы.

— Жёлтое за жёлтое... — прошептал он едва слышно...

Старик взял часы и растворился среди лиан, гигантских папоротников и зарослей победно устремлённого ввысь бамбука. Над тем местом, где он только что сидел, осталась лишь стайка разноцветных колибри, оперением и весёлой суетой так похожих на больших бабочек...

...Колибри сопровождали его, когда он торопливо шёл к зданию асунсьонской почты, нервно сжимая в руках свежий номер городской газеты. Только что военный министр рассказал ему о филателистическом скандале. Генерал хорошо знал, чем кончаются подобные вещи. Купив в почтовом окошке марки, он тут же встал за конторку и разложил их на полированной поверхности.

За стеклянной витриной почты шумел беззаботный Асунсьон, мальчишки скакали вдоль мостовой, замужние парагвайки озабоченно спешили по своим делам. Полицейские торжественно прошагали босиком в сторону трамвайных путей, по которым с грохотом и звоном летел городской трамвай, влача за собой убранную цветочными гирляндами похоронную платформу...

На парагвайской марке 24-го года границы с Боливией вообще не было, на марке 27-го года она проходила севернее Гран-Чако, а на марке 28-ого года отодвинулась ещё дальше к северу с наименованием территории как «Северное Чако Парагвая». Категоричным приговором судьбе выглядел и лозунг на этой марке: «Было, есть и будет парагвайским!» Но на только что выпущенной марке Боливии спорная область обозначалась, как «Боливийское Чако». Генерал понял, что давно зревший нарыв прорвался. Он вспомнил, как в прошлом году в газетах появились сообщения о вроде бы найденной в Чако нефти, вспомнил свою долгую беседу об этом с президентом и просьбу военного министра срочно продумать вопросы перевооружения армии. Сам Скенони оценивал соотношение сил в возможной войне, как один к восьми в пользу, разумеется, боливийцев. Сопrotивление, по его мнению, в случае конфликта было бы бессмысленным.

В Президентском дворце, между тем, частыми гостями стали представители британской Shell Oil, а в Боливию, по слухам, зачастили американцы — эмиссары Standard Oil. Все понимали, что войны не миновать. Но Парагвай был беден, разорён предыдущей войной и обладал вдвое меньшей, нежели боливийская, армией при острой нехватке вооружения.

Письмо самопровозглашённого сержанта Тувиги было фактически сигналом о начале военных действий. Генерал понимал, что не только оружие и численность армий будет влиять на её исход, но и, главным образом, пресная вода, возможности снабжения и союзничество индейцев.

Покинув почту, он отправился в недавно организованный штаб, где попросил только что назначенного начальником полковника Эстигаррибия, предоставить необходимые материалы и документы, среди которых были и его собственные докладные записки и аналитические исследования прошлых лет. К делу подключился помощник полковника, майор Фернандес, и сообщая они быстро сделали приблизительную оценку возможного расклада сил: все водные источники, кроме главного — озера Питиантута — были ещё в предыдущих экспедициях генерала подробно изучены с помощью индейцев и нанесены на карты... он бегло просмотрел свои старые записки и расчёты... так, снабжение... основную базу следует поставить в Исла-Пой, туда подходит узкоколейка от Пуэрто-Касадо, а уж в этот порт на реке Парагвай можно водным путём из центра доставлять и вооружение, и продовольствие, и живую силу. Линия фронта пройдёт, скорее всего, по укреплённым фортам, от Исла-Пой туда всего около тридцати

километров... не так ли, дон Эстигаррибия? Теперь посмотрим, какие возможности у боливийцев... водного пути нет... ближайшая железнодорожная станция... очевидно, Вилья-Монтес... ого!.. более трёхсот двадцати километров до границы... а потом ещё не менее двухсот до линии фронта... если же мы будем их теснить, то конечно, меньше, но всё равно немало, как вы считаете, дон Фернандес? Далее: боливийскую армию составляют в основном жители относительно прохладных предгорных территорий, —тяжко придётся им на марше среди раскалённого и влажного воздуха... Ну, а наши, свободно ощущающие себя в привычной местности гуарани, будут, конечно, с нами! Что ж, повоюем, сеньоры!

К организационным вопросам генерал привлёк других русских офицеров, и довольно быстро армии удалось привести в состояние полной боевой готовности. Войну ждали, и она не задержалась.

Сформировав в преддверии Чако значительные силы и проведя первые маршевые разведки, боливийцы атаковали ближайший парагвайский форт и сходу захватили его. Всего через месяц, воодушевлённые первыми победами, они начали мощное наступление по всему фронту. Парагвайцы вынуждены были отступить.

В это время на окраине Асунсьона в доме капитана Корсакова собрались русские офицеры. Все были взволнованы, горячася, обсуждали первые военные сводки, переживали за неудачи на фронте.

— Господа, — сказал хозяин дома и поднял руку, призывая товарищей к тишине. — Господа! Все мы знаем, что происходит сейчас в Чако, все мы сочувствуем нашим товарищам-парагвайцам. Но я считаю, одного сочувствия недостаточно. Ведь мы офицеры! Двенадцать лет назад мы потеряли Родину и, как ни горько сознавать, вряд ли когда-нибудь в будущем нам доведётся её вновь увидеть. Парагвай приютил нас, дал нам кусок хлеба и крышу над головой. Это наше второе отечество! Мы должны защищать его, как защищали Россию!

Офицеры зашумели, послышались одобрительные выкрики.

— Это наш долг, господа!

— Конечно, долг чести!

— Мы пойдём добровольцами!

— Это и наша земля!

Генерал в это время находился уже в районе боевых действий и, узнав о патриотическом порыве земляков, отправил им телеграфом свои приветствия.

...Съеденный третьего дня удав был давно забыт и маленький отряд снова страдал от голода и жажды. Ели крахмалистые корни и мягкие побеги растений, на которые указывали индейцы, через силу жевали листья, рвали побитые птицами неведомые фрукты, раз наткнулись на кусты матасаны и вдоволь поели жёлтых ароматных плодов... По следам отряда бесшумно шли каннибалы-морос и не нападали до поры до времени лишь потому, что видели в руках путников огненные дубинки и ждали только момента, когда люди окончательно ослабнут.

Питиантута упорно ускользала. Путешественники измучились до последней степени и уже через силу двигались вперёд. Генерал знал, что озеро где-то рядом, надо скрепиться, преодолеть усталость, перетерпеть голод, жажду, мучительные боли от ран, порезов и укусов ядовитых насекомых; спасительная вода должна вот-вот появиться, а уж за ней — знакомый путь к дальнему форту, крайней пограничной точке на севере страны. Люди часто останавливались передохнуть; сил не было совсем. Голод притупился, но пить хотелось невыносимо. Влажная земля, удушливый, предельно насыщенный тяжёлыми испарениями воздух, — влага, казалось, обволакивала тела, но... воды не было. Хотели пить мочу, но мочи тоже не было. Её с трудом выдавливали из себя; коричневые капли, с трудом истекая, падали в проклятую землю. Всех качало, даже выносливые индейцы чувствовали себя очень плохо. Их медные лица стали тёмно-бронзовыми, почти чёрными, кожа других путников сделалась грязно-жёлтой и потеряла эластичность. Генерал смотрел на товарищей и не узнавал их: ввалившиеся глаза, лихорадочные взоры, иссушенные губы. Сам он едва не падал в обморок, — горькая тошнота мешала соображать, какие-то солнца и луны, покрытые ядовитыми колючками, плясали перед его расширенными зрачками, хвостатые шутихи вспыхивали в мозгу и разноцветные фейерверки взрывались внутри распухшей головы. Он дал команду остановиться. Все тут же опустились на едва примятую траву звериной тропы и повалились в изнеможении. Генерал лежал, уронив голову... перед его глазами в гигантских зарослях жирной травы полз маленький жучок, который

казался ему огромным, он наступал, грозил своими острыми жвалами, плотоядно перебирал всеми шестью лапками... генерал протянул руку... ободранные, распухшие, чёрные пальцы попали в поле его зрения и заслонили собой всё — стену разнотравья, деревья и кусты вокруг, лежащих неподалёку товарищей. Он изловчился, схватил жука и, несмотря на яростное сопротивление насекомого, засунул его в рот. Жук жалобно хрустнул на зубах и, карябая воспалённую генеральскую глотку, провалился в бездну небытия. Так пролежали они в сумерках сознания довольно долго и очнувшийся первым фон Экштейн еле слышно прохрипел: «Вперёд...»; почти все услышали его и, повинувшись, нет, не чувствуя долга и не осознанию необходимости во что бы то ни стало исполнить свою миссию, а просто — жажде жизни и гону жажды, с трудом поднялись и двинулись вперёд. Генерал покрепче ухватил мачете, встал впереди отряда... несколько слабых движений — и по сторонам упали срубленные низкорослые кусты... он сделал мелкий шаг, взгляделся в клубящийся сумрак и вдруг... воспалённые глаза его упёрлись в вертикальные зрачки осторожно вышедшего из зелёной тьмы рослого пятнистого ягуара... позади него сомкнулся сухо шелестящий тростник, зверь поднял крупную красивую голову и... генерал увидел себя как бы со стороны: он стоял на заросшей тропе, в авангарде измученного жаждой маленького отряда... стоял, не испытывая страха и ожидая, пока зверь поймёт, что опасности для него нет и спокойно уступит дорогу, но ягуар не уходил, — внимательно глядя в глаза генерала, он медленно и спокойно изучал его тщедушную фигурку, переводил умные глаза на капитана Орефьева, на барона Экштейна, и казалось, размышлял... позади ещё двое — это были братья Оранжеевы, — далее — свои, краснокожие... ягуар принялся... да, свои, пахнут сельвой и индейским потом... он величественно развернулся, но не ушёл в заросли, а оглянувшись, словно приглашая следовать за ним, грациозно двинулся по тропе... Путешественники, не сговариваясь, пошли следом...

...Ещё три дня брели они по непроницаемым зарослям, из последних сил прорубая себе дорогу там, где их безмолвный проводник тенью проскальзывал, не задевая ни ветки, ни листика и лишь поворачивая умную лобастую голову назад и глядя в серо-зелёные, сливающиеся с растительным фоном фигурки... брели уже безотчётно, без чувства, без мысли, мгновениями выпадая из сознания, и только ворочали распухшими языками в воспалённых пещерах своих смрадных ртов, бесполезно ища хотя бы капли влаги... Ночами останавливались и, уже не разжигая костёр, на который просто не было сил, с трудом проглатывали на ходу припасённые днём листья и коренья, кое-как привязывали гамаки к деревьям, заворачивались в одеяла и пончо и без сил валились в верёвочные сетки. Пятнистый ягуар, всегда находившийся несколько поодаль, с наступлением темноты бесшумно подходил к генеральскому гамаку, укладывался рядом, словно собака, и, бодрствуя до утра, охранял покой путников. Каннибалы-морос, всё ещё преследующие отряд, вынуждены были отступать в глубину сельвы, так как ягуар чуял их приближение и тихим, но полным сдержанной угрозы рыком предостерегал от нападения. Спали, словно проваливаясь в бездну, словно умирая на время ночи, словно переселяясь в пустоту и космический мрак иных вселенных, а утром одновременно, как по сигналу, просыпались, с трудом выползали из гамаков, собирали пожитки и снова шли вперёд...

На закате третьего дня ягуар вывел их к Питиантуте. Ещё на краю джунглей, увидев впереди слегка подболоченную равнину, а ещё дальше — заросли мангров, которые ясно указывали на наличие поблизости воды, путники забыли о беспредельной усталости и почти бегом кинулись на равнину. Ягуар мощными размашистыми прыжками нёсся впереди, сильно опережая их. Не отпуская лошадей и мулов, люди бежали к озеру... вот уже показалась его ближняя прибрежная полоса красного цвета, переходящая далее в светло-бурую и наконец — в совершенно прозрачную едва колеблемую гладь, простирающуюся до самого горизонта. Берегов озера не было видно, оно казалось гигантским, циклопическим и только едва видимые вдали горы намекали на то, что у этой воды есть где-то начало и конец. Побросав амуницию и оружие, измученные путники сходу влетели в озеро, распугав всю прибрежную живность, лошади и мулы вошли следом. Ягуар остался на берегу и медленно ходил среди мангровых кустарников, внимательно оглядывая окрестности. Люди упали в воду и пили, пили, пили её; никогда ещё не казалась она им такой вкусной, такой животворящей, она была лучше зельтерской с её прозрачными пузырьками, лучше коричной — с клубникой и лимоном, лучше кристальной чистоты настойки на померанцевых цветах, лучше оршада, благоухающего миндалём и кунжутом, лучше леяного нектара, приготовленного с мятой и лаймом и слегка приправленного

ванилью... Они пили, погрузив головы в прохладные сумерки лёгких течений, и видели, как под водой летают озёрные птицы, медленно поднимая и опуская тяжёлые крылья, а когда отрывались от сладостного питья, чтобы вдохнуть немного воздуха, перед их глазами над зеркалом лагуны проносились стаи летучих серебристых рыб, несущихся к дальнему невидимому берегу... И снова они, не в силах преодолеть сладостного зова озера, погружали головы в тайны неведомых глубин и снова пили эту волшебную воду... её можно было пить бесконечно, до самой смерти, до скончания веков, до слияния с бесконечностью иных звёздных миров, пить, пить и пить, не отрываясь, ни на мгновение не отвлекая своё внимание от этого простенького источника всего сущего на земле... Они втягивали в себя жизнь, они сами возвращались к жизни... вот берега озера стали опускаться, — так много и жадно они пили, так вожделили влаги, которой не видели много дней и от отсутствия которой уже умирали... они продолжали пить и вот уже им стали попадаться сверкающие прохладной чешуёй элегантные продолговатые рыбы... они хватали их руками и вгрызались в мягкую, пропахшую свежими озёрными ароматами плоть, ели живое, трепещущее в их дрожащих пальцах розовое мясо и не могли насытиться... а воды хотелось всё больше и больше, и они по-прежнему не могли оторваться от неё и, желая вместить в себя всю влагу мира, продолжали пить, снова и снова прикладываясь к озёрной глади... берег опускался всё ниже... закат догорал вдаль и его кровавые сгустки уже покрасили верхушки сейб, возвышающихся над южным массивом сельвы, а люди всё пили и пили, и вот уже видны стали придонные водоросли и стаи мечущихся в преддверии бездомности и сиротства мальков... генерал оторвался от воды и безумными глазами глянул на своих сопутников: они стояли уже по колени в озере и, не в силах больше пить, гладили ладонями мягкую бархатную воду... ласкали её нежную поверхность, словно тела любимых женщин, опускали свои любящие губы в её прохладную рябь и не могли, не могли оторваться от этих волшебных чистых переливов... Выйдя наконец на берег, они упали в папоротники и раскинули по сторонам руки... над ними плыли окрашенные охрой и пурпуром, слегка подзолоченные изнутри закатные облака; лёжа недвижимо на своих травяных постелях, они ни о чём не думали, — вода блаженно переливалась по их жилам, словно бы заменив собою кровь, и это состояние блаженства, казалось им, не иссякнет никогда...

Однако через короткое время все встали и направились к дальнему подлеску, — организмы людей требовали избавления от выпитой в напрасной жадности воды; едва добрав до гряды кустарника, они стали извергать из себя едкую пахучую жидкость, и вскоре моча залила все окрестности, обратив в паническое бегство племя кровожадных каннибалов, притаившихся было в густых зарослях. Морос бежали быстрее ягуара, быстрее пумы, а жгучая моча преследовала их, выжигая словно кислотой травы, кусты, обугливая стволы деревьев и убивая всё живое вокруг. Мелкие птицы, попадая в зловонные ядовитые пары, падали обгорелыми головёшками на землю, насекомые роями сгорали в воздухе, змеи выскальзывали из обожжённой кожи... А смертоносные струи всё лились и лились, и никак не могли иссякнуть.

Ягуар сидел на берегу озера и всматривался в застывающую воду. Уровень её постепенно поднимался, — видно, с гор быстрее бежали посланные индейскими духами ручьи. Багровый солнечный диск почти полностью закатился в почерневшие дебри, и на их фоне вдруг появилась толпа вооружённых копьями и луками людей. Ягуар глянул в их сторону, понюхал воздух, царственно развернулся и пошёл прочь, словно передав эстафету заботы вновь прибывшим и как бы демонстрируя всем своим видом полностью исполненный долг. Генерал глянул в сторону заката: впереди отряда чемакоко, белея раскрашенным в надвигающихся сумерках лицом, шёл касик племени, самопровозглашённый сержант Саргенто Тувига.

Следующим вечером на всех членов экспедиции обрушилась малярия. Они лежали в только что отбитом у боливийцев форте и бились в лихорадке. Генерала бросало то в жар, то в холод, голова раскалывалась от боли, братья Оранжереевы бились в конвульсиях, барон Экштейн бредил, Орефьева выворачивало сырой рыбой. Даже Мэккэпитью и Гуражирари были намертво скручены сильнейшим жаром, впрочем, температура выше отметки «сорок» поднялась у всех. Саргента Тувига послал за корой хинного дерева.

Генерал лежал на пальмовой циновке в лазарете форта и в приступах удушливого полузабытья видел себя и Алёну выходящими из ворот экстансии... они шли, взявшись за руки, по майсовому полю, и маис был уже в самой поре, — кое-где перезрелые, высыхающие под солнцем початки роняли на иссушенную зноем землю жёлтое, отливающее маслянистым

золотом зерно... генерал вёл Алю дальше, и они выходили на кампу, откуда открывалась дорога к дальнему лесному массиву; лес был странный — вполне среднерусский, с ёлками, берёзами и даже рябинами, но перемежаемый пальмами и тропическим тростником... они входили внутрь какой-то тёмной просеки, которая, постепенно сужаясь, превращалась в тесный проход между скалами... в проходе лежало железнодорожное полотно и...

...Генерал всмотрелся: вокруг него стали медленно появляться из тумана небытия, словно на стеклянных фотографических пластинках под действием проявителя, тёмные фигуры: люди, лошади, верблюды, мулы... в молочных хмурых сумерках проступали контуры повозок, телег, кибиток и экипажей, серая толпа измождённых людей медленно шагала под морозящим дождём... по сторонам железнодорожного полотна тянулись пологие насыпи, которые также были заняты густой толпой беженцев: верхом, пешком, на телегах двигались вперёд офицеры, солдаты, казаки, гражданские с семьями, калмыки, и не было конца этой скорбной толпе... Большевики теснили Донскую армию, отходившую по линии Ильская — Абинская — Крымская, разрозненные части Добровольческого корпуса и Кубанской армии, уже подверженные панике и разложению, двигались в направлении Новороссийска, надеясь погрузиться там на английские военные транспорты. Всё происходящее казалось генералу полной катастрофой, душераздирающие сцены вокруг усугубляли впечатление, и не было в мире такой силы, которая могла бы изменить что-то в этой трагической картине крушения. Справа и слева от скользких рельс, от жирных, пропитанных креозотом шпал, там, где насыпи переходили в узкие, залитые густой полужидкой грязью дороги, брели ободранные верблюды, ведомые тощими измученными калмыками, люди вязли в тягучей ледяной жиже, животные с трудом переставляли тонкие ноги... на открытой телеге пожилая калмычка везла два детских посиневших трупа... поодаль маленький калмычонок лет семи шёл босиком, с трудом выдёргивая из раскисшей хляби бурые от холода ступни... По шпалам тащились расхристанные офицеры и солдаты; позади, из-за скального поворота, вывернул паровоз, с усилием тянувший несколько обшарпанных вагонов. Люди стали оглядываться, некоторые нехотя уступали дорогу, иные продолжали идти дальше. Паровоз свистел, предупреждая об опасности, и медленно двигался вперёд, задевая своими входными мостками сторонящиеся повозки, — то и дело слышался хруст ломаемых досок и от телег летели в разные стороны щепы и целые куски дерева. Вот на насыпи встала, накренясь, широкая повозка с ранеными, запряжённая четвёркой тощих одров; свернуть влево они не могли, там шла плотная толпа верховых казаков, потеснить идущих впереди также было нельзя из-за образовавшегося в этом месте затора; несчастные лежали в повозке рядами, и когда один из вагонов задел её край, полумёртвые одры с неожиданной силой забились, переломив дышло, — раненые вылетели прочь, и их безвольные тела покатались по мокрому склону под копыта лошадей... Какие-то женщины бросились к раненым... синие волы с выпирающими рёбрами плелись меж людей, натываясь на телеги... по чавкающей грязи справа ехали донские беженцы на лошадях с обрезанными построками... тащить поклажу уже не хватало сил и вся обочина была завалена домашним скарбом, тюками с обмундированием, разбитыми ящиками, коробками... по дороге, словно по театральной сцене, двигались персонажи, казалось бы, фантастической, однако же, более чем реальной народной драмы: раненые, генерал в экипаже, дамы в мужских сёдлах, калмычка на лошади с младенцем под грудью, старик с нелепым переломанным зонтиком над головою... генерал стоял со своей Алей в самом сердце этого медленно текущего свинцового потока, который тяжко ворочался и глухо стонал, перекатываясь с вала на вал, влача за собой пропитанный гнойной сукровицей след, словно раненое животное, не знающее иных способов спасения кроме бегства... над ущельем сгущалось ядовитое облако зловонного дыхания десятков тысяч воспалённых ртов, в воздухе что-то гудело и скрежетало... генерал стоял в полной растерянности, ощущая себя безвольной песчинкой в этом клокочущем потоке, в этом раздуваемом разгневанной природой смерче и уже прозревал свой путь — среди бесконечности ледяного космического пространства — безвестной частичкой звёздной пыли... звёздной пыли...

Прошли станцию Ильскую. Донцы ещё оборонялись в её окрестностях. Ставка вела себя странно. Телефонная связь работала, но из штаба Главнокомандующего не поступало никаких распоряжений. На пути к Абинской происходили постоянные стычки с «зелёными», и генерал, отослав Алю в казачий обоз, в одном строю с другими офицерами и солдатами держал оборону. Сил не было, пять дней ничего не ели, вдобавок мартовская холодная морось вытягивала

последние силы. В Абинской остановились на ночлег, а утром оказалось, что в соседних хатах с вечера спали красные, в глубине же села – «зелёные». В невероятной суматохе завязался тройной бой непонятно кого непонятно с кем. Кто-то сдавался в плен, кто-то переходил на сторону неприятеля, иные всерьёз сражались, а некоторые, растерявшись, метались по разным вражеским станам и порой не понимали, в чьё расположение их занесло. Отступая, донцы захватили в плен с десяток «зелёных» и вели их до станции Крымской. Там, не понимая, для чего ведут, поставили всех к стене пакгауза и, не в силах выслушивать их мольбы, запечатали им глотки свинцовыми кляпами.

Возле Крымской в один мутный поток слились последние части Добровольческого корпуса и Донской армии. Вся станция была битком забита вагонами и, чтобы пропустить штабной бронепоезд, пришлось специальными лагами опрокидывать целые составы. Направление движения постоянно менялось, без конца приходили противоречивые директивы, и генерал уже не понимал, куда двигаются войска. Хотели идти на Тамань, но красные блокировали дороги, в горные области также не было пути, — их занимали «зелёные», которые без конца влезали в мелкие затяжные бои. Оставался единственный путь — Новороссийск. Генерал с ужасом думал об этой последней зыбкой надежде, в отчаянии представляя себе, как толпы измученных людей окажутся отеснёнными к морю и будут метаться, словно крысы в маленькой клетке, к прутьям которой поднесён кипящий смолою факел.

В Новороссийске царил полный развал. Деникин при всех своих полководческих талантах не мог организовать полномасштабную эвакуацию, для этого просто не хватало средств. Желаящих эвакуироваться было очень много, — сотни тысяч затравленных, обезумевших людей метались на подходах к морю, судов же на рейде стояло не более десятка: остатки русской эскадры, английский линкор «Император Индии», крейсер «Калипсо», итальянский крейсер «Этна», французский эскадренный миноносец и греческая канонерская лодка... На эти суда экстренным порядком грузились части добровольческого корпуса, но тут город захлестнула лавина беженцев и остатки Донской армии. Люди ломались на пристани, сметая всё на своём пути, лезли на сходни, срывались с бортов, на палубах случались драки за места. Казаки тащили за поводья коней, им невысказанно было расстаться с ними, ведь конь для казака — первый друг и боевой товарищ. Многие привели своих скакунов аж с Дона или из астраханских степей... как забыть поля сражений, по которым вместе летали, уворачиваясь от шашек, как забыть походные биваки, где вместе ночевали, замерзая под открытым небом... конь — существо родное, близкое, дорогое... генерал знал это хорошо, помнил немало добрых жеребцов, а Буян, так тот вообще был роднее брата! Лошади в городе попадались на каждом шагу, они носились, очумелые и ошалевшие от безнадзорности, по улицам и площадям, неприкаянно толклись в переулках и неизменно выходили на пристани в поисках своих хозяев, бросивших, предавших их. Стоя в толпе на пристани и тревожно обнимая Алю, генерал видел, как плачущий казак прощался с конём, гладил его по дрожащей морде, говорил ему что-то просительно и с большим чувством, словно убеждая не горевать, не метаться, не принимать к сердцу, а потом достал револьвер, вложил ему в ухо и, зарывав, выстрелил.

Город громили мародёры. Грабили магазины, склады, растаскивали продовольствие, английское обмундирование, по улицам валялись связки новеньких мундиров, шинели, кожаные куртки, вскрытые бакалейные пакеты, ящики с консервами. Всюду носились черкесы и чеченцы, ловившие брошенных коней. Офицеры, захваченные хаосом всеобщего отчаяния, метались среди баулов и кошёлков, теряя детей, жён, бросая имущество, калмыки, как истинные дети природы, омертвевшими истуканами стояли ввиду рейда, где дымили и, словно взывая о помощи, надсадно гудели корабли... генерал не мог пробиться сквозь плотную толпу к вожделенным сходням и думал о том, что следует пойти, наверное, к пристани возле цементного завода, занятой англичанами, — там потише, поспокойнее... и действительно, придя туда, генерал с Алей обнаружили в преддверии погрузки на корабли относительное спокойствие, здесь, на прилегающих железнодорожных путях стояли бронепоезда со штабами Добровольческого корпуса и Донской армии, охраняемые пулемётными расчётами и танками, видимо, поэтому тут установился некоторый порядок. Но и здесь дождалась своей участи постоянно находившаяся в движении толпа измученных людей, которые уже ни на что не надеялись, ни о чём не думали, а только тряслись в предсмертном ужасе, как бараны, назначенные на заклание, трясутся перед обнажённым лезвием ножа.

Генерал оглянулся. Позади пристани, там, где улицы вливались в площадь, стояла семья — молодой офицер, его жена и ребёнок — плачущая девочка лет пяти. Офицер присел на корточки, прижал дочку к себе, неистово поцеловал, перекрестил и... выстрелил ей в голову... жена забилась в зверином вопле... он обнял и её... мгновения они рыдали, обнявшись, затем он также осенил её крестным знамением, поднял пистолет и... нажал на курок... она рухнула к его ногам... схватившись обеими руками за голову, он стоял и задыхался, не в силах вдохнуть воздуха для крика, стоял и судорожно икал, не умея исторгнуть свой вопль... наконец утробно заревел, закрыл левою рукою глаза, а правую — с пистолетом — поднёс к своему виску и выстрелил...

На горизонте, между тем, появился большой корабль, и вскоре взбудораженная его приближением толпа увидела, что это броненосный крейсер «Вальдек Руссо»; почти одновременно со стороны города на пристань влетело несколько всадников, которые принялись что-то лихорадочно выкрикивать... толпу качнуло, волна ужаса пробежала по ней, словно грозный зачаток надвигающегося шторма... всадники продолжали кричать, но ничего нельзя было разобрать, только отдельные слова с трудом долетали до генерала: «Туапсе, Анапа», «красные», «Геленджик», «конница Будёного» и снова «красные»... толпа всколыхнулась, на этот раз уже на более высоком градусе ужаса, почти переходящего в истерику, задние надавили на передних, тысячи людей пришли в неистовое движение и захлебнулись отчаянными криками, общее движение вперёд было таким могучим, что генерала оторвало от Али и бросило вперёд, в пучину общего безумия, он летел вместе с плотной толпой и не мог даже оглянуться, чтобы увидеть, в какую сторону понесло жену... спотыкаясь и падая в спины товарищей по несчастью, он лихорадочно думал о том, что если упадёт окончательно, то будет затоптан, одновременно в его мозгу билась короткая мысль... слово... имя... Аля, Аля, Аля... сзади резко толкнули и тут... генерал услышал стрёкот пулемётов и физически ощутил сгустившееся над толпой облако пота, всем существом своим почувствовал энергию страха, взметнувшего и раскидавшего людей... толпа снова качнулась вперёд, сметая всё на своём пути... затоптанные уже корчились на асфальте, а генерал, оскользаясь на чьей-то крови, плыл, охваченный мощным течением со всех сторон, — его несли к морю, к трапу, к борту подошедшего крейсера... в это время громыхнуло танковое орудие и напор толпы усилился... где-то впереди, за пристанью, в близлежащих улицах разорвался снаряд, и люди слышали звуки обрушения... неукротимая лавина влилась в узкое русло сходен и грозила опрокинуть их, в воду летели чемоданы, шляпы, люди... едва держась на ногах, генерал влетел в узкий проход трапа и, ощущая на своём теле чьи-то руки, ноги, кулаки, локти, слыша хруст грудных клеток, медленно продвигался вверхи наконец пробкой выскочил на более-менее свободное палубное пространство...

Аля, казалось, пропала навсегда. Потрясённый её потерей и всем пережитым при эвакуации, генерал долгое время не мог прийти в себя. Потом, несколько оправившись, и как только появились первые возможности, он искал её в Галлиполи, Константинополе, Варне, расспрашивал знакомых, встреченных на чужих берегах, посылал запросы, письма, но всё было бесполезно. Более всего страшила его мысль о том, что Аля не смогла попасть на уходящие корабли и осталась в Новороссийске. Он упорно продолжал искать её и через два года с помощью старых друзей нашёл в Египте, где она погибала без денег, без работы в нищей комнатёнке у пожилых арабов, пригревших её...

Их встреча была чудом, безумием, бездонным счастьем, они весь день не могли оторваться друг от друга и пили друг друга, как искушённые гурманы пьют дорогое и редкое вино, а ночью, сцепившись в объятиях, боялись распахнуть сети своих рук, чтобы снова не потеряться... не потеряться... и, засыпая на мягкой груди своей возлюбленной, своей дорогой и единственной жены, генерал опять видел во сне золотой край, золотой рай, мечтаемый с детства, — бесхитростных бронзовокожих индейцев, их хижины, их широкие реки и заросли мангров, и пальмы, раскинувшие свои широкие лапы высоко над головой...

Открыв глаза, он глянул в щели тростниковой перегородки: прямо перед стеной строения стоял фасетчатый ствол пальмы и дальше, в глубине дворового пространства, виднелась стена форта.

Лихорадка несколько отступила, во всяком случае, жар, по-видимому, спал, и ему стало лучше. Остальные члены экспедиции также потихоньку приходили в себя. Дней через десять

благодаря хинному порошку, доставленному посланцами самопровозглашённого сержанта Тувиги, состояние путешественников настолько улучшилось, что некоторые из них стали выходить на патрулирование, чтобы развеяться на свежем воздухе. Боливийцы, правда, совсем не беспокоили, все их силы были стянуты в направлении главного удара на Бокерон. Генерала пока ещё продолжали мучать пароксизмы болезни, но он уже постановил для себя, что в ближайшее время уйдёт на Касадо, откуда можно будет добраться до Бокерона. Это решение совпало с получением депеши от командующего, полковника Эстигаррибия, который хотел видеть русского генерала своим начальником штаба. Другие офицеры экспедиции тоже собирались идти на фронт.

Спустя несколько дней, ранним прохладным утром, когда солнце было ещё на пути к горизонту и лишь намеревалось взглянуть на просыпающийся мир, генерал со своими товарищами в сопровождении небольшого индейского конвоя отправился в направлении Касадо. В день делали около тридцати километров и за пять переходов достигли цели. Дважды, правда, пришлось останавливаться и пережидать приступы болезни, уже, впрочем, не такие мучительные, как прежде.

По прибытии на место генерал поспешил явиться в штаб главнокомандующего.

Бокерон держался уже более двух недель. Восемьсот боливийцев, захвативших его, успешно отражали все атаки парагвайских сил. Трёхтысячная армия под водительством полковника Эстигаррибия тщётно пыталась выбить из форта героический гарнизон.

Команда генерала сразу же оказалась в самой гуще событий. Сам генерал согласно приказу командующего возглавил штаб армии и начал немедленную инспекцию артиллерии, его соратники получили соответствующие командные посты, а индейский конвой влился в пехотные полки.

Боливийскую армию возглавлял германский генерал Кундт, ветеран Великой войны, под его началом служили сто двадцать немецких офицеров; русские знали это и рвались в бой, мечтая поквитаться с могучим врагом за недавнее прошлое. Бокерон был взят боливийцами сходу, так как германское командование предпочитало в ведении боевых действий молниеносные прямые удары, но подобная метода, возможно, эффективная где-нибудь на Польском фронте или в Галиции, здесь не могла иметь особого успеха, потому что давала лишь временное преимущество. Захватив сразу огромные парагвайские территории, боливийская армия оказалась на огромных безлюдных пространствах в отрыве от снабжения, тыловых коммуникаций и питьевой воды. Парагвайцы же, напротив, отступили к своим базам, откуда своевременно получали подкрепление, боеприпасы и продовольствие.

Ввиду сложившейся ситуации генерал предложил командующему перейти к тактике партизанской войны, и парагвайцы принялись зарываться в землю, создавая временные убежища и формируя диверсионные отряды. Важнейшие направления были заминированы, опутаны колючей проволокой, а из защищённых укреплений регулярно выходили хорошо оснащённые группы и устраивали разрушительные диверсии в боливийском тылу. Генерал приказал валить пальмы, очищать от веток и укладывать голые стволы в стратегическом порядке, чтобы боливийская авиация принимала их за артиллерийские позиции. Самолёты противника, совершая боевые вылеты, напрасно тратили драгоценный боезапас, сбрасывая бомбы в безлюдной сельве. Вдобавок ко всему вражеская армия начала испытывать настоящий голод, — сквозь джунгли продовольствие не успевало пробиваться, а по воздуху удавалось доставлять отчаянно мало, к тому же часть сброшенных грузов зачастую попадала в расположения парагвайцев.

Но Бокерон продолжал стойко обороняться. Упрямые боливийцы отбивали атаку за атакой, и парагвайская пехота вынуждена была каждый раз отступать на прежние позиции. Генерал понимал, что форт должен быть взят во что бы то ни стало, ибо он продолжал оставаться ключевым пунктом будущих военных действий. Командование сосредоточило здесь большие силы, понимая, что без взятия Бокерона двигаться дальше невозможно. На штабном совещании было принято решение завести в тылы противника подразделение капитана Орефьева, а немногочисленная парагвайская авиация получила приказ безжалостно бомбить форт. Командиры отвели войска в укрытия, и Бокерон был погружён в ад. Бомбы рвались по всему форту и в его окрестностях, дым и гарь заволокли пространство вокруг, из-за укреплений слышались дикие вопли, стоны и проклятия... Бокерон бился в агонии, но не сдавался. Парагвайцы ещё трижды атаковали неприступную твердыню, но всё было тщётно.

Ночью командующий собрал штабное совещание для согласования и уточнения общих действий. Было решено взять Бокерон в клещи. Орефьев оставался в тылу, капитан Касьянов со своим эскадром и капитан Ширкин с пехотным полком ставились на фланги, предполагалась согласованная атака и одновременный бой на трёх направлениях. Но когда Касьянов и Ширкин ринулись вперёд, Орефьев почему-то остался на месте. Связь между подразделениями не могли наладить, осколки перебили телефонные провода. Бой был коротким, но жестоким, и боливийцы вновь сумели отразить атаку. Парагвайцы, волоча раненых и убитых, отошли на свои позиции. По возвращении войск, генерал поспешил к командирам подразделений. В расположении возле пальмового бруствера стоял окровавленный Касьянов и, брызгая слюной, выкрикивал в лицо Орефьеву какие-то гневные и оскорбительные слова. Бледный Орефьев горячо возражал; к ним подошли другие офицеры и солдаты, принимавшие участие в атаке, среди офицеров были Ширкин, Салазкин, Бутлеров, — стоявший при штурме на левом фланге Ширкин, с ног до головы покрытый пороховою копотью, нервно дёргая щекой и размахивая руками, что-то возбуждённо втолковывал Орефьеву и до генерала долетели полустёртые слова «трусость» и «предательство». Орефьев с перекошенным лицом отступил от оппонента на шаг и тихо сказал:

— Нет перчатки, господин капитан... извольте принять приглашение на поединок!

— У меня люди погибли! — выкрикнул Ширкин напоследок и смолк, заметив подошедшего генерала.

Дело быстро разобрали. Когда жар полемики утих, выяснилось, что Орефьев, плохо владевший испанским, неточно понял приказ и, выпав таким образом из согласованных действий, не поднял своих солдат в атаку. Генерал знал, что Орефьева нельзя обвинить в трусости, тот был его соратником и ближайшим другом, участвовал почти во всех исследовательских экспедициях и не раз выручал товарищей в трудную минуту. Кроме того, Орефьев вообще презрительно относился к смерти, считая, что её нет, а воину и на небесах уготована ратная судьба. Своим солдатам он говорил: «Не кланяйтесь пулям, ребята, ведь они ж неприятельские!» В одной из первых атак на упрямый форт пуля сбила с его головы фуражку, а другая продырявила штанину, но он даже не остановился, увлекая солдат в атаку.

Поэтому генерал поспешил успокоить его и предостеречь от необдуманных действий. Но Орефьев спокойно и тихо возразил ему в том смысле, что на оскорбление он привык отвечать вызовом и попросил генерала быть его секундантом...

Парагвайцы вечером улеглись спать, а русские долго ещё кипели под тростниковым навесом, обсуждая случившееся. Большинство уверяли Ширкина в том, что произошло недоразумение, ошибка, и просили его помириться с капитаном. Орефьев же всю ночь не сомкнул глаз, а утром разыскал генерала и сказал, твёрдо глядя ему в глаза:

— Ваше превосходительство, прикажите атаковать Бокерон! Слово чести: я возьму его!

— Василий Фёдорович, — отвечал генерал, — а как же поединок?

— Нужды нет, возьму форт и буду готов к услугам кого угодно, хоть чёрта!

— Полноте, сударь, ведь дело прояснилось. Ширкин испросит прощения, да выпьете каньи на мировую!

— Нет, ваше превосходительство, дело чести... я должен драться! Только сначала я возьму форт!

— Что ж, извольте, господин капитан, я переговорю с командующим...

В густом и тягучем золоте заката, вдыхая горькую пыль краснозёма и тараша воспалённые жгучим пороховым дымом глаза, сидели в окопах и укрытиях парагвайские солдаты — метисы, индейцы гуарани и чемакоко, русские, аргентинцы, — и ожесточённо обстреливали укрепления форта. Слева и справа слышны были характерные щелчки бельгийских длинноствольных «маузеров», на флангах стрекотали «мадсены», в соседнем окопе ухали миномёты. Орефьев чувствовал приближение пароксизма ещё не окончательно покинувшей его малярии и, опершись о патронный ящик, мелко дрожал — то ли от лихорадки, то ли в преддверии атаки. Солдаты тоже были возбуждены и в нетерпении посматривали на своего командира. Орефьев глянул на форт — стены его, сложенные из стволов кебрачо, перед которыми были бессильны даже миномёты, утопали в пороховом дыму. Боливийцы яростно отстреливались. Орефьев огляделся и увидел горящие ненавистью глаза своих солдат. Глубоко вздохнув, он перекрестился, крепче ухватил тяжёлый «мадсен» и выскочил из окопа. Загрохотали барабаны. Время стало катастрофически сгущаться...

Боковым зрением капитан видел, как мучительно медленно, словно вытаскивая ноги из вязкой глины, поднимаются на бруствер солдаты, берут наперевес винтовки и устремляются за ним... он развернулся и бешено прокричал, срывая связи:

— Будь проклят этот чёртов форт! На Бокеро-о-он! Вива Парагва-а-ай!!

И в тот же миг закатное солнце за его спиной вздрогнуло и колыхнулось, как сырой желток, упавший на раскалённую сковородку, заклокотало, увеличиваясь в размерах, и извергло из себя жгучие сгустки плазмы. Солдаты услышали странный хлопок, медленно повернули головы в сторону своего командира и увидели, как он вспыхнул, объятый ревушим пламенем!

— На Бокерон!! — вновь дико закричал Орефьев и ринулся вперёд.

Форт замер, потрясённый невиданным зрелищем. Медленно, словно во сне, бежал капитан к онемевшим укреплениям, сжимая в руках раскалённый «мадсен» с болтающимися под стволом упорами... солдаты летели следом, вздымая колени и потрясая винтовками, а яростное солнце раззолачивало их затылки, создавая над каждой головой некое подобие нимба, мерцающего на фоне кровавого заката... это небесное воинство несло вперёд, увлекаемое огненной багрово-золотой фигурой, роняющей на бегу маленькие неистовые протуберанцы и сыплющей вокруг раскалённые гудящие угли... эта лавина грозила смести всё на своём пути... они бежали и бежали, и дымящаяся земля под их ногами была покрыта язычками пламени... боливийцы не могли опомниться и всё смотрели в изумлении на неумолимо приближающийся факел, увлекающий за собой неисчислимую армию... от этого зрелища невозможно было оторваться... и вдруг... под ногами бегущих солдат стала вздыматься почва... из этих холмов праха появились тёмные фигуры, одетые в полуистлевшую форму парагвайской армии времён войны с Тройственным союзом... солдаты вставали и, стряхивая с рук краснозём, впивались пальцами в изъеденный ржавчиной металл своих винтовок... рядом с натугой выбирались из-под земли грозные пушки и мортиры, сработанные когда-то в литейных мастерских Ибикуи, а впереди призрачного войска шёл одиннадцатилетний мальчик в чине полковника, который плену предпочёл смерть, — сын сумасшедшего диктатора Франсиско Солана Лопеса Карильо... пушки и мортиры били по форту и, наконец, часть восточной стены под натиском тяжёлых ядер обвалилась и в зияющей пустоте дымной дыры стали видны в беспорядке снующие защитники форта... капитан Орефьев, по-прежнему роняющий на бегу клочья пламени, повернувшись к войскам, вскричал: «Примкну-у-уть штыки!» и солдаты, не останавливаясь, занялись штыками, готовя их к рукопашной... в этот момент, словно очнувшись от крика вражеского командира, боливийцы пришли в движение и начали стрелять... пули злобными роями полетели в сторону атакующих и принялись жалить бойцов авангарда... Орефьев взмахнул огненными крыльями и... рухнул под замшелой стеной Бокерона... его солдаты пронеслись мимо и полезли на укрепления форта... схватка была короткой и яростной, парагвайцы никого не щадили, кололи и кололи, размахивая окровавленными штыками, и меньше чем через час над Бокероном взвилось рваное белое полотнище...

Капитана перенесли в расположение парагвайской армии, положили посреди вытоптанной площадки на кусок брезента... он был ещё жив... закатное солнце освещало его лицо, а в волосах бегали маленькие золотые искры... он открыл глаза, увидел перед собой плачущего генерала и прошептал ему, уже не имея сил улыбнуться:

— Хороший вечер, чтобы умереть...

И тут каким-то непостижимым образом генерал оказался в том же положении, что и Орефьев, только лежал он не на замызганном куске брезента, а на своей постели в полутёмной комнате и перед ним стояла толпа индейцев, охраняемая с одной стороны жёлто-песочной пумой, а с другой — пятнистым ягуаром. Индейцы топтались и перешёптывались, глядя на него, а он едва-едва, одними губами улыбался им. Он так любил их, любил уже много лет, с самого раннего детства...

Он вспомнил тётю Лизоню и свои прогулки с ней по Васильевскому острову, где располагался Андреевский рынок. Здесь он как-то заметил на книжном развале небольшую книжонку с изображенным на обложке индейцем и надписью «Последний из могикан». Книжка стоила всего двенадцать копеек и была незамедлительно приобретена снисходительной тётей. Это был адаптированный вариант знаменитого романа Купера, и тем же вечером в тиши отцовского кабинета книжка была незамедлительно прочитана. Ночью же он проснулся в жару и до утра бредил гурунами и ирокезами. Вызванный наутро доктор печально констатировал:

«Корь». А потом любимая тётя Лизоня во всё время болезни самоотверженно читала ему не только Купера, но и Майн Рида, Кетлина, Ламе Флери и Ирвинга.

После болезни, уже совершенно оправившись, он как-то раз залез было на чердак и обнаружил там прадедовский палаш и целую кучу старинных фолиантов в потёртых кожаных обложках. Раскрыв один из них, он сразу же наткнулся на старинную карту, над которой было выведено диковинными латинскими буквицами с завитушками: «Асунсьон»...

Уже после войны индейцы дневали и ночевали на генеральском дворе. Они приходили из сельвы группами и поодиночке в совершенно декольтированном виде и полиция зачастую отправляла их обратно, но упрямые аборигены, дождавшись ночи, в темноте всё равно возвращались, и тогда генерал беседовал с ними, дарил свои вещи, а потом Аля укладывала их спать на дворе или в доме. Они оставались, жили по нескольку дней, а то и недель, генерал же тем временем решал их вопросы в учреждениях и правительственных кабинетах. Ему много удалось сделать для них. Сколько усилий и времени потратил он на постройку первой индейской школы-колонии! Выбывал для своих подопечных деньги, землю, пытался влиять на принятие законов, дающих индейцам особые права. А словари, которые он составлял много лет! А индейский театр, созданный им в Асунсьоне! А дети чемакоко, годами жившие в его доме! Он был для индейцев почти отцом, во всяком случае — вождём. Они и чтили его как вождя. И вот они стояли перед ним, переминаясь с ноги на ногу, то ли наяву, то ли во сне, в предсмертной дремоте, в чарах уже почти потустороннего бытия... он смотрел на них, и бедное его сердце, уже едва бьющееся, переполнялось тихой благодарной радостью.

Сначала он спасал русских, вырывая их из пучин крови, растреления и нищеты, надеясь на то, что хотя бы горсть героев сумеет сохранить, пусть и на чужбине, величие и державность покинутой Родины. Если нельзя было сохранить саму Родину, то можно было сохранить хотя бы её честь. Потом он стал спасать индейцев, забитых и бесправных, но благородством своим превосходивших иные цивилизованные народы, и много успел в этом.

Индейцы стояли — мужчины, женщины, дети... в дверь заглянула Аля, вошла, прямо сквозь них пройдя к его кровати, села на стул возле, взяла его руку... индейцы качнулись и стали медленно растворяться в воздухе... растаяли пума и ягуар, коати, олень и обезьяны... исчезла тропическая растительность... он повернул голову: слегка смещаясь то в одну, то в другую сторону, колебалась перед его взором знакомая комната, и Аля, плача, сидела перед ним... он глянул в её милое лицо, в её мокрые выцветшие фиалковые глаза, легонько сжал слабыми пальцами любимую, знакомую до последней, самой маленькой морщинки ладонь — в последний раз... в последний раз... вздохнул и...

Отпевали его в Церемониальном зале Генерального штаба, торжественно и строго. Каждые полчаса сменялся почётный караул, у гроба стоял сам Альфредо Стресснер Матиауда, сорок шестой президент страны и соратник генерала по Чакской войне, рядом находилась его свита, высший генералитет, русские военные, дамы в траурных платьях, а поодаль смущённо поглядывали по сторонам потерянные индейцы — гуарани, чемакоко, мака... Они истово крестились, как научил их покойный, и твёрдо вышёптывали «Отче наш» по-русски. Они же вынесли его на руках из здания Генерального штаба и в молчаливом согласии долго провожали по улицам Асунсьона, — дойдя до мерцающей стали рельсового пути, поставили гроб на похоронную платформу городского трамвая, украшенного белыми тропическими орхидеями и чёрными траурными лентами, и трамвай, печально зазвенев хрустальным колокольчиком, отправился в направлении старого кладбища. Возле ворот погоста индейцы бережно взяли гроб и пронесли его насквозь, с востока на запад — мимо русских могил, — чтобы генерал мог проститься с товарищами, раньше него ушедшими в иные миры. Покинув кладбище, скорбная процессия двинулась к реке, где индейцы опустили гроб в широкую лодку, и генерал отправился на ней в своё последнее плавание. Согласно завещанию покойного совет старейшин племени постановил захоронить его в своих владениях на маленькой возвышенности Священного острова предков, что индейцы и сделали, начертав на могиле скорбное поминание: «Команданте Хуан Беляефф, великий Алебук Сильная рука, вождь Клана Ягуаров племени чемакоко».

В сороковой день генерал ступил на землю Чако-Бореаль, что в переводе с гуарани означает «северное охотное поле»; перед ним простиралась долгая равнина, на краю которой

стеной стояла дикая сельва... он шёл по влажной траве, сжимая в опущенной руке свой любимый винчестер «тридцать-тридцать», справа сторожко ступал пятнистый ягуар, а слева — жёлто-песочная пума... они шли в направлении сельвы и видели стоящих перед плотными зелёными зарослями индейцев, которые улыбались и призывно помахивали руками... среди них гарцевал статный жеребец редкой караковой масти и радостно ржал, приветствуя старинного друга... в шаге от толпы индейцев генерал вдруг заметил Марусю и снова поразился её удивительной схожести с Алей... что-то заставило его оглянуться и, слава Богу, парагвайская равнина была совсем не похожа на каменистое преддверие библейских Содомы и Гоморры, и он не превратился в соль, как непокорная жена Лота... итак, он оглянулся и увидел свой оставленный дом, а на его пороге — Алю, но не ту мягкую старушку, уставшую от вечного ожидания, с которой он прощался совсем недавно, а молодую, тоненькую девочку с яркими фиалковыми глазами необычайной глубины... она стояла на пороге дома и махала ему рукой, он тоже приподнял руку и качнул ладонью в ответ... слёзы выступили у него на глазах, но он скрепился, сжал сильнее свой любимый винчестер и легко побежал... пятнистый ягуар и жёлто-песочная пума не отставали... стайка разноцветных колибри догнала их... над джунглями плыл, накрываясь и уходя прямо в небо, асунсьонский трамвай с порожней похоронной платформой, украшенной траурными лентами и свежими тропическими цветами... индейцы на краю сельвы звали его, ветер дул ему в спину, подгоняя, а он уже почти летел... летел к своим дорогим индейцам, к наивным и простодушным обитателям джунглей, сливаясь с равниной, травой, сельвой и сам превращаясь в конце концов во влажный, тёплый, ласковый ветер... ветер... ветер...

